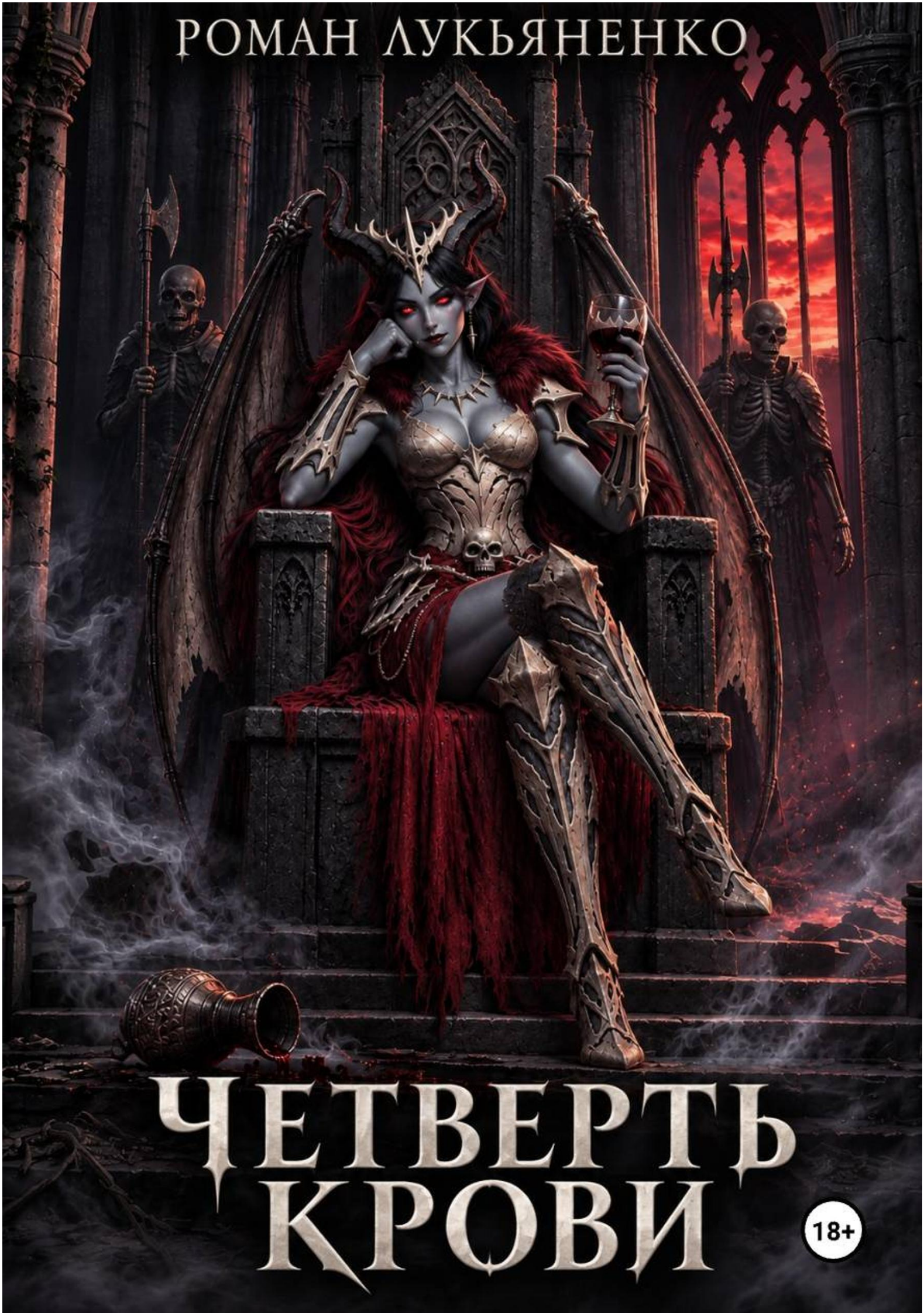
РОМАН ЛУКЬЯНЕНКО



ЧЕТВЕРТЬ КРОВИ

18+

Роман Лукьяненко

Четверть Крови

«Автор»
2026

Лукьяненко Р.

Четверть Крови / Р. Лукьяненко — «Автор», 2026

Он приходит в себя в темнице чужого замка. Имени нет. Прошлого нет. Есть мозоли от меча и голос в голове, который знает о нём больше, чем он сам. Голос готов отвечать. Цену называет она. За стенами не легче. Орден с гончими на цепи не спрашивает, кто ты такой. Его интересует, чья в тебе кровь.Тёмное фэнтези: наёмник без памяти, демон с чувством юмора, короткие жёсткие бои. Первая книга цикла «Пепел и иней».

© Лукьяненко Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Неожиданный гость 5
Глава 1. Пробуждение 8
Глава 2. Охотник 16
Глава 3. Гончая 26
Глава 4. Гусиное перо 38
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Роман Лукьяненко
Четверть Крови

Пролог. Неожиданный гость

Упырь пролетел мимо окна тронного зала. Снизу вверх.

Начальник стражи проводил его взглядом. Упыри прыгают высоко, но не кувыркаясь. Этого бросили.

Во дворе, у распахнутых ворот, десяток скелетов смыкался кольцом вокруг человека с мечом. Гости сюда лазили через окна, по ночам и толпой. Этот пришёл на закате, один, через ворота.

Кольцо сомкнулось — и распалось. Шаг, разворот, удар. Руны у гарды блёкло светились, и клинок разваливал скелетов от ключицы до таза. Второй упырь прыгнул на чужака с галереи. Тот не обернулся, только ткнул в ту сторону двумя пальцами — и вокруг него вспыхнули четыре белых меча, каждый чуть длиннее кинжала, провернулись и ушли навстречу. На камень упырь упал уже кусками. Первый наконец долетел обратно и шлёпнулся рядом.

У соседнего окна встала хозяйка.

Он смотрел на неё столько лет, что перестал видеть, и только когда ей становилось интересно, видел снова. Пепельная кожа с синевой. Волосы до бёдер, чёрно-багровые, к концам красные. Рога — тёмные, ребристые, загнутые назад, и между ними костяной венец. Кость на ней была везде, где у людей золото: ожерелье из клыков, пояс с пряжкой-черепом. На плечах — высокий воротник из тёмно-красного меха, за спиной — сложенные крылья. Хвост — тонкий, гладкий, с костяным остриём на конце — один в ней не умел притворяться. А глаза горели алым, без зрачков, как два угля, на которые подули.

— Пусть поднимается, — сказала она. — И не трогать. Он мой.

Гость вошёл в зал и посмотрел не на трон и не на золото. Он сосчитал колонны, окна, шаги до возвышения — и начальника стражи.

— Как тебя зовут? — спросила она с трона.

— Зачем тебе?

— Надо же знать, что написать на твоей клетке.

Ударила она, не вставая. Огненный кнут хлестнул через ползала, тёмно-красный и густой, как металл из ковша. Чужак не стал принимать его в лоб: ушёл на полшага, и кнут вспорол колонну оплавленной бороздой. Он не защищался. Он мерил.

Начальник стражи начал считать — в ударах сердца, хотя сердца под чёрными латами давно не было. Сам он когда-то продержался против неё сорок.

Гость уходил от колонны к колонне и огрызался мечами света. Она смеялась и отмахивалась костяным наручем, и лезвия гасли в шаге от неё, как искры в снегу.

Потом ей надоело. Кнут раздвоился в воздухе, затем ещё раз, и вокруг гостя с четырёх сторон стала смыкаться огненная клетка.

Гость вскочил на стол и побежал прямо к трону, и кнут шёл за ним по пятам: столешница лопалась под сапогами, кувшины подскакивали и разлетались черепками, рукав задымился. С края стола он прыгнул на огненные прутья и ударил крест-накрест. Начальник стражи ждал, что меч раскалится и потечёт. Но там, где огонь касался стали, огня не становилось: кнут гас на клинке и рвался, как гнилая верёвка. Обрубки забились на полу и погасли.

Следующий удар скользнул по полированным пластинам корсета и задел хозяйке плечо. Кровь закурилась на ступенях, как смола на углях.

Хозяйка перестала смеяться — впервые на его памяти. Она коснулась пореза, растёрла кровь между пальцами. Потом улыбнулась — медленно, жадно, — и он узнал эту улыбку. С неё когда-то началась его служба.

— Ты мне нравишься. Кто тебя прислал? Я дам втрое.

— Деньги взяты. Перекупленный наёмник стоит ровно один заказ.

Она встала с трона. Взметнулись обрывки багровой ткани — она носила их не ради приличия, а ради этого, — и крылья раскрылись во всю ширь. От неё ударило жаром, как из распахнутой печи. Наёмника смело со ступеней.

Огонь стекал с её рук, и камень под ним тёк воском. Кнут отрос, вытянулся во весь зал и пошёл на уровне колен; наёмник оттолкнулся от обломка стола, перемахнул через огонь, перекатился по полу и встал уже с мечом наготове.

Следующего удара наёмник не увидел. Кнут лёг ему на плечо, и наплечник поплыл. Он сорвал его вместе с ремнём; железо зашипело на полу. Следом наруч. Мечи света вспыхивали вокруг него всё реже и всё тусклее: каждый он оплачивал скоростью меча, а клинок ходил всё тяжелее. Рубаха на нём горела, из носа шла кровь.

Броня на начальнике стражи раскалилась, и он отступил от колонны на шаг. И устыдился этого шага.

Двести. Двести пятьдесят.

Наёмник упал на колено. Кнут хлестнул его поперёк груди, вполсилы — мёртвый ей был не нужен, — и он лёг на спину посреди зала с мечом в руке.

Триста двадцать, досчитал начальник стражи. Жаль. Хороший был.

Хозяйка спускалась к нему не спеша, кнут волочился за ней по жидкому камню. Так подходят к подранку, за которым уже не нужно бежать.

И тут начальник стражи перебрал бой заново — и похолодел, насколько может похолодеть то, в чём давно нет крови.

Наёмник с первого же удара пятился от трона, от колонны к колонне, и вытянул её на середину зала. Левая рука посылала клинки — и каждый раз возвращалась к поясу, к маленькому кожаному мешочку. Первый удар кнута он пропустил мимо: меч, гасящий огонь, приберёг напоследок. Даже у трона, в полушаге от её горла, ударил в плечо: показывал товар.

Она присела рядом и приподняла его подбородок рукоятью кнута. Когти другой руки неторопливо легли ему на грудь.

— Пожалуй, я тебя оставлю.

Левая рука наёмника ушла к поясу.

Начальник стражи узнал камень сразу. Чёрный, с орех, в дымных прожилках. Другое поле, другая рука и крик, который не кончался.

Приказ был: «Не трогать». Про «молчать» хозяйка ничего не сказала.

Хватило бы одного слова.

Он промолчал.

Клинок вошёл ей под рёбра снизу, и тем же движением наёмник вжал камень в рану. Её когти сомкнулись у него на запястье. Алые глаза распахнулись. Она поняла.

Камень пил. Красный свет хлынул из неё в чёрную точку. Таяли рога, волосы, пальцы, лицо, и тело исчезло раньше голоса: крик ещё висел под сводами, когда кричать было уже нечем. На предплечье наёмника вспыхнул красным знак, и свет ударил во все стороны. Среднее окно вынесло наружу, а его самого швырнуло через весь зал о стену.

Стало тихо.

Начальник стражи отдал себе приказ — поднять правую руку — и подождал, не дёрнет ли изнутри, как дёргало все эти годы. Не дёрнуло. Руку он поднял сам.

Наёмник дышал. Начальник стражи поднял камень латной перчаткой и держал на вытянутой руке. Погасший знак на предплечье лежащего выглядел свежей татуировкой.

Потом он поднялся на возвышение и сел на трон. Скелеты у стен склонили черепа.

— В темницу, — сказал он. — Под замок.

В пробоине над лесом стояло красное зарево; его увидят далеко. На краю расколотого стола уцелел один кувшин.

Тишина ему нравилась.

Глава 1. Пробуждение

За стеной стучала кость о камень.

Сухо, размеренно. Шаг — пауза — шаг. Потом скрежет, будто что-то тяжёлое проволокли по полу, и снова: шаг — пауза — шаг. Кому-то здесь было некуда торопиться.

Под щекой был мокрый камень. Пахло плесенью и старой кровью. Болело всё, будто его долго и старательно били палками, а потом бросили остывать. Но рёбра оказались целы, пальцы гнулись, а свежих ран он нащупал всего ничего: пару ссадин, корку крови над бровью да вспухшую полосу поперёк груди, какую оставляет раскалённый прут. Откуда — не помнил. На ладонях — жёсткие мозоли от рукояти. Пленник — другого слова для себя он пока не нашёл — сел и привалился спиной к стене.

Он попытался вспомнить, с кем дрался. Как попал сюда. Как его зовут — и наткнулся на пустоту так резко, что перехватило дыхание. Там, где должно было быть имя, лежала ровная тёмная гладь, как вода на дне колодца. Он знал, как держат меч, хотя меча при нём не было. Кто он такой — не знал.

«Ладно, — подумал он с удивившим его самого спокойствием. — Бояться буду потом. Сначала — где я и где выход».

Глаза тем временем привыкали к темноте — быстрее, чем следовало бы. Проступила кладка стен, ржавые прутья решётки справа, тонкие полоски света в щелях двери. Свет был мёртвый, зеленоватый — такого не дают ни свеча, ни луна.

Он добрался до двери и навалился на неё плечом. Дерево в кулак толщиной, железные полосы, засов снаружи. Дверь даже не шелохнулась. Петли были вмурованы в камень намертво. Строили на совесть. Для таких, как он.

За решёткой, в соседней камере, кто-то сидел.

Сосед опирался спиной о стену, свесив голову на грудь. На нём был почти целый нагрудник с позолоченной чеканкой, на ногах — добротные сапоги из толстой кожи. Рядом лежал холщовый мешок, большой, такой берут, когда рассчитывают унести много. Мешок был пуст. Из-под шлема на пленника скалился череп.

«Судя по доспехам — богатый был, — подумал пленник. — Судя по позе — недолго».

Его взгляд задержался на сапогах.

Шаги за стеной стихли. А потом раздались другие — тяжёлые, мерные. Лязг железа о камень, и под этой поступью, казалось, проседал пол. Шаги приближались. И остановились у его двери.

Лязгнул засов. Дверь отворилась с долгим ржавым скрипом, и в камеру хлынул зеленоватый свет — от факелов в коридоре, горевших ровно и без дыма.

В проёме стоял рыцарь.

Огромный — на голову выше пленника, а сам пленник, судя по тому, как низко ему приходилось пригибаться под сводом, коротышкой не был. Чёрные доспехи закрывали рыцаря целиком, от сабатонов до гребня шлема, без единой щели. Пластины покрывала сеть царапин, на наплечнике темнела свежая вмятина. В прорезях забрала тлели два красных огня.

Пленник не сразу понял, что его тревожит. Рыцарь не дышал. Доспехи не поднимались и не опускались, из-под забрала не шёл пар, хотя в подземелье было холодно. И от него ничем не пахло — ни потом, ни кожей, ни ржавчиной. Так не пахнет ничто живое. И почти ничто мёртвое.

— И суток не прошло, — произнёс рыцарь. Голос был глухой, как со дна пустой бочки, и шёл изнутри всего доспеха сразу. — Стало быть, живучий.

— Это похвала? — Горло драло.

— Нет.

— Кто ты?

Шлем чуть повернулся к нему.

— Имени у меня давно нет. Его забрали вместе со всем остальным. Встань. Иди за мной.

Пленник поднялся, держась за стену. У порога он остановился и кивнул на соседнюю камеру.

— Открой.

Рыцарь посмотрел на решётку, на мертвеца за ней, потом снова на пленника. Огни в прорезях чуть сощурились.

— Мародёрствуешь в моём замке.

— Сапоги. Ему уже не жмут.

Рыцарь отцепил от пояса связку ключей и уронил её на пол, к ногам пленника. Тот подобрал ключи, с третьей попытки отпер соседнюю камеру, опустился на колено перед мертвецом и стянул с него сапоги — с усилием, ссохшаяся плоть держала их цепко.

— Без обид, — сказал он мертвецу.

Сапоги оказались великоваты, но кожа была толстая, подошва крепкая. Пленник притопнул, проверяя, и вышел в коридор.

— Ключи, — сказал рыцарь и протянул назад латную перчатку. Связка легла в железную пятерню.

Коридор тянулся в обе стороны дальше, чем доставал свет. Камеры шли вдоль стен — он насчитал двадцать, прежде чем бросил. Не все пустовали. В одной на цепях висело что-то, давно переставшее быть человеком. В другой кто-то шевельнулся в темноте и тихо заскулил. Пленник остановился.

— Кто там?

— Хозяйкин запас, — сказал рыцарь, не замедлив шага. — Теперь ничей.

За дверью стихло. Там слушали.

Пленник постоял ещё вдох, глядя на засов, и пошёл за рыцарем.

У каждого поворота по трое стояли скелеты с ржавыми алебардами и расступались перед рыцарем, склоняя черепа.

— Хозяйка любила, когда кланяются, — сказал рыцарь, не оборачиваясь. — Эти хотя бы не предают.

Винтовая лестница уходила вверх. На седьмом или восьмом витке рыцарь, не сбавляя шага, перешагнул через одну ступень. Пленник посмотрел на ряд узких отверстий в стене над ней, на то, что засохло под ними и раньше было кем-то, — и перешагнул следом.

Лестница вывела в галерею. Под сводом вниз головой висели упыри, и к пленнику, у которого снова кровила бровь, повернулись все серые головы. Один стёк по стене, но рыцарь повернул шлем — только шлем, — и упырь уполз обратно.

Впереди показалась арка, и из неё ударил свет — настоящий, тёплый, красно-золотой.

Зал выглядел так, будто в нём неделю гуляла наёмничья рота, которой забыли заплатить: картины изрублены в лохмотья, длинный стол расколот надвое, на камне не копоть, а оплавленные потёки. Пахло гарью и чем-то сладковатым.

Среднее из трёх окон за троном было разбито, и в пробоину лился закат — единственный свет в замке, который не казался мёртвым. Железный трон стоял посреди разгрома нетронутым.

Под ногой звякнул кусок металла, оплавленный и скрученный, с обрывком ремня; дальше валялась половина наруча.

— Твои, — сказал рыцарь. — Были. Она очень старалась.

На краю разбитого стола каким-то чудом уцелел кувшин. Пленник понюхал и замер. Вино — и не кислятина из придорожной корчмы: тёмное, с запахом вишни и дыма. За такое в столице отдали бы золотой и не торговались. Лить его в пустой желудок было преступлением. Пил

он долго, не отрываясь, пока не заломило в висках. Опуская кувшин, он зацепился взглядом за собственное правое предплечье. На внутренней стороне темнела татуировка: овал, в нём пятиконечная звезда, а по ободу — мелкие знаки, тесно, как зубцы, ни один не повторяется. Чёткие линии, свежая краска. Он не помнил, когда её делали. Не помнил зачем.

Рыцарь тем временем поднялся по ступеням и сел на трон — разом, без звука и без выдоха, как ставят на место тяжёлую вещь. Латная перчатка легла на подлокотник и больше не шевелилась.

— Ты пришёл к ней сам. Она смеялась. Недолго.

— Где она?

— Нигде.

Рыцарь даже шлема не повернул.

— Здесь вечно кто-нибудь кричал. Слуги, гости, она сама. Теперь — послушай.

Пленник послушал. Где-то капала вода, в разбитом окне посвистывал ветер. Больше ничего.

— Тишина, — сказал рыцарь так, как трактирщик говорит о нераспечатанной бочке.

Пленник поставил кувшин. Расклад был дрянной: жестянка знала всё, он сам — ничего.

— Ты убил мою хозяйку. Обижаться мне или благодарить — ещё не решил. Спрашивай.

— А решишь обижаться?

— Тогда вопросы кончатся.

— Кем она была?

— Демоном. Она сидела здесь дольше, чем я ей служу, а служу я дольше, чем живут люди. Сюда ходили за золотом — толпой, ночью, через окна. Тех, кто ей нравился, она оставляла себе. Я стоял против неё сорок ударов сердца. Ты — триста двадцать.

— А убил как?

— Камнем поглощения.

— Что за камень?

— Вещь, за которую в любом королевстве вешают без суда. Ты второй, кому он достался. Какую плату он берёт с хозяина, не знает никто.

— А первый?

— Варас. — Рыцарь провёл латной перчаткой по подлокотнику. — Освободитель.

Имя ничего ему не сказало — только на дне пустоты шевельнулась тень, как от слова, слышанного в детстве.

— Ты его знал?

— Я видел, как он работал.

— А как работал я?

— Я стоял вон там. — Шлем повернулся к колонне справа от трона. — Видел, как она исчезает. Сначала тело. Потом крик.

— И не помог?

— Приказа не было.

— Почему я ничего не помню?

— Не знаю. И мне всё равно.

— Зачем я сюда полез?

— Не за золотом: на золото ты даже не взглянул. За ней. И пришёл готовым.

Взгляд рыцаря скользнул к татуировке на предплечье пленника и задержался на миг дольше, чем следовало.

— Это что? — Пленник поднял руку.

— Не моё дело.

— Но ты знаешь, чьё.

— Догадываюсь. Догадки держу при себе. Хозяйка вот любила поговорить.

— Ты сказал, что ещё не решил, обижаться или благодарить.

— Не решил.

— Тогда почему я очнулся в темнице, а не у твоих упырей на столе?

— Чтобы было время подумать. Из-за решётки ты никуда не делся бы. Я много лет исполнял её приказы, и половина из них была глупее твоего визита. Теперь отдавать их некому. Замок мой.

— Стало быть, решил?

— Благодарить. Ты не умрёшь. По крайней мере, не в этих стенах.

Голод скручивал живот, а ноги держали пленника только из упрямства. Ответы подождут.

Он развернулся и пошёл к арке.

Скелеты у арки шагнули навстречу и скрестили алебарды. Пустые глазницы смотрели поверх его головы.

— Не умрёшь, — сказал рыцарь у него за спиной. — Про «уйдёшь» уговора не было.

Пленник не обернулся. Алебарды были ржавые, кости сухие, двоих он, пожалуй, свалил бы. А потом за спиной встал бы рыцарь.

Он послушал, как в тишине капает вода.

— Держи меня тут, — сказал он. — Кто-то ведь меня прислал. С камнем, со знаком на руке. Такие вещи на ветер не бросают — за ними приходят. Сюда. В твою тишину.

Молчание за спиной тянулось долго.

— Или отпусти, — сказал пленник. — И пусть ищут меня, а не тебя.

Алебарды разошлись.

— Стой.

Рыцарь поднялся, зашёл за спинку трона и вернулся с длинным мечом в серебряных ножнах.

— Твоё. — Он протянул меч рукоятью вперёд. — Клинок добрый, я бы оставил. Ты прав: пусть находят тебя, а не мой замок.

— Пока зарево не погасло, у кромки леса стоял один, — добавил рыцарь, всё ещё держа меч на весу. — Мои видели. Не подошёл и не побежал.

— Кто?

— Мои не спрашивают.

Ножны были серебряные, потемневшие, в царапинах. Рукоять обмотана потёртой кожей, гарда короткая, чуть загнутая к клинку. Меч наёмника, только ножны наёмнику не по карману.

Пленник сомкнул пальцы на рукояти. Воспоминаний не было — ни вспышки, ни картин, ни голосов. Было тепло, которое потекло от рукояти в ладонь и выше, к локтю. Пальцы сами нашли хват, большой лёг на гарду, вес клинка отозвался в запястье привычно, как отзывается собственная рука. Он перекинул перевязь через плечо, и ножны легли на бедро туда, где им полагалось быть.

— Это ещё не всё, — сказал рыцарь.

Он бросил пленнику что-то небольшое. Тот поймал левой. Камень — гладкий, чёрный, с дымчатыми прожилками, размером с крупный орех. Тяжелее, чем положено такому камню, и холодный, будто его только что вынули из сугроба.

— Это?..

— Он самый. — Рыцарь отступил на шаг. — При себе держать его не стану. Попробуй с ним не умереть.

Камень отправился в карман, и бедро сразу обдало холодом. Этот шаг назад пленник запомнил.

Во дворе стучала кость о камень.

Скелеты прибирали после вчерашнего: двое волокли по плитам третьего — вернее, то, что от него осталось, — и бросали к стене, в кучу пленнику по пояс.

Кости в куче были разрублены одинаково: наискось, от ключицы до таза, и нигде второго замаха. Пленник посмотрел на срез, потом на свою правую руку. Ни одного удара он не помнил.

Ворота замка стояли открытыми — две чёрные створки высотой в три человеческих роста, а за ними густеющие сумерки. На пороге пленник остановился и потянул меч из ножен.

Клинок вышел легко, с тихим шелестом. Внизу лезвия, у самой гарды, проступили руны — мелкие, угловатые, серебристо-белые, похожие на иней, подсвеченный изнутри. Света от них едва хватало, чтобы разглядеть пальцы. Но по руке, по плечам, по всему телу прошла волна мягкого тепла, и усталость, вцепившаяся в горло, разжала хватку.

Меч мог больше. Пленник чувствовал это так же, как чувствуешь силу в руке, ещё не замахнувшись. Как это из него достать — не помнил.

Он вложил клинок в ножны, руны погасли, и он шагнул в темноту.

* * *

Лес начинался сразу за воротами — если это можно было назвать лесом. Деревья стояли голые и чёрные, точно обугленные, хотя пожара здесь, судя по всему, не было никогда. Ветви сплетались над головой в мёртвую сеть, сквозь которую проглядывало темнеющее небо. Под сапогами хрустела сухая хвоя. Ни птиц, ни ветра, ни шороха в подлеске.

Вино не насытило, только разожгло голод.

На чёрном стволе, на уровне глаз, белела свежая зарубка, через двадцать шагов — вторая. Рубил человек его роста, длинным клинком с правой руки. Пленник приложил меч к срезу, и лезвие легло без зазора.

Дальше он шёл от зарубки к зарубке и считал. Метки вели без петель: так метят дорогу назад, когда собираются вернуться быстро. Сорок шестая сидела на последнем мёртвом дереве; дальше стволы были серые, живые, и над головой неуверенно чирикнула птица.

А потом он услышал воду: по дну неглубокого оврага бежал ледяной ручей. Пленник рухнул на колени у кромки и пил, пока не свело зубы. Потом плеснул в лицо пригоршню, другую, третью и замер над водой, дожидаясь, пока уляжется рябь.

Луна уже поднялась, и в тёмной воде проступило лицо.

Чужое. Худое, обветренное, щетина в несколько дней, тонкий шрам над левой бровью, а поверх него — свежая ссадина.

На миг в глубине серых глаз вспыхнуло что-то красное, яркое. Он моргнул — ничего. Лунная дорожка на воде, его собственное растерянное лицо. Отблеск, решил он и плеснул на отражение водой.

В кустах за спиной хрустнула ветка.

Он развернулся раньше, чем успел подумать. Из зарослей на склон выскочил ошалевший заяц и метнулся вдоль ручья. Левая рука вскинулась, два пальца нацелились зайцу вслед — и у плеча пленника зажёгся белый клинок, узкий, не длиннее предплечья. Клинок провернулся на месте, как волчок, и ушёл вдоль ручья быстрее, чем заяц успел вильнуть.

Заяц перекувырнулся через голову и затих. Меч погас, будто его и не было.

Пленник посмотрел на свои пальцы. Кончики покалывало. Он нацелил два пальца ещё раз — медленно, старательно, нарочно. Ничего. Ещё раз. Ничего, только судорога в запястье.

— Полезно, — сказал он вслух. — Знать бы ещё, как это повторить.

Зайца он освежевал мечом — неловко, длинным клинком, ругаясь сквозь зубы, но справился. Искру высек гардой о кремень из ручья и костёр развёл, думая о соли.

Жир капал с тушки на угли и вспыхивал синими язычками.

Пока заяц доходил, он вынул из кармана камень. Тот не теплел и у самого огня. Вещь, за которую вешают без суда, а ручей — в трёх шагах. Он отвёл руку для замаха — и опустил: памяти у него нет, а камень — единственная нитка к тому, кто его сюда отправил. Камень вернулся в карман.

Заяц оказался жёстким, жилистым и восхитительным. Пленник обглодал кости, облизал пальцы и только тогда поверил, что, может быть, выживет. Огонь потрескивал, журчал ручей, в ветвях снова подала голос птица. Мир казался почти сносным.

Тогда в голове кто-то застонал.

Тихо и совсем рядом — внутри, прямо за глазами, словно кто-то проснулся в соседней комнате его черепа. Пленник замер с костью в руке.

А потом ударила боль — разом, со всех сторон. Кожу обожгло. Изнутри в череп упёрлись чьи-то плечи и давили, давили на виски и глаза, пытаясь выйти наружу. Тело стало тяжёлым и чужим. Кость выпала из пальцев. Он осел на колени, так и не сумев крикнуть.

Правое предплечье полоснуло отдельной, яркой болью. Татуировка горела. Звезда и знаки по ободу светились багровым, как раскалённая проволока, и прямо на глазах сдвигались, едва заметно меняя углы, — знак перехватывал что-то поудобнее.

Давление в голове пошло на убыль. Медленно, неохотно. Наконец он снова смог вдохнуть. Воздух пах дымом и жареным мясом.

И увидел её.

Не глазами — глаза по-прежнему смотрели на костёр. Она появилась за ними, в темноте его собственного разума, так ясно, как если бы стояла по ту сторону огня. Она брезгливо стряхивала с подола что-то серое — пепел, пыль, обрывок чьей-то памяти. Не стояла — располагалась.

Алые глаза без зрачков неторопливо, по-хозяйски обвели темноту вокруг — так оглядывают дом, куда привезли против воли, и уже прикидывают, что здесь переставить.

— Тесно, — сообщила она. Голос был низкий, бархатный, с ленивой хрипотцой. — Тесно, темно и сыро, как в погребе у бедняка. Ты здесь когда-нибудь прибирался?

— А ты кто?

Пленник почувствовал её взгляд кожей.

— О. Оно разговаривает. — В её улыбке было столько ласкового яда, что им хватило бы перетравить всех крыс в замке. — Ты, дорогой мой, тот самый бродячий мясник, который вломился в мой дом, изрубил моих слуг, испортил мне вечер, а затем запер меня в этой… — она снова огляделась, — каморке.

— Рыцарь сказал, тебя больше нет.

— Мой рыцарь всегда верил в лучшее. «Приказа не было», — произнесла она глухо, на чужой лад, как из пустой бочки. И тут же своим голосом: — Узнаю выучку. Мою.

— Он сидит на твоём троне, — сказал пленник. — И тишина ему по душе.

— Трон достался мне вместе с замком. Прежний хозяин тоже думал, что трон его. — Она пожала плечом. — Кто сидит, тому и кланяются. Это не верность, это мебель. — И, не дав ему ответить: — Я надеялась, тебе достанет воспитания хотя бы представиться. Но ведь ты и сам не знаешь, как тебя зовут, не так ли?

Пленник промолчал.

— Не знаешь, — с удовольствием протянула она. Её взгляд ушёл сквозь него, вглубь, туда, где у него была пустота, и что-то там, кажется, нашёл. — Кайт. Тебя зовут Кайт.

Имя упало в пустоту — и пустота отозвалась. Не воспоминанием, а узнаванием, как рука узнала рукоять меча.

— Как мило, — продолжила она. — Коротко, как плевок. В моём зале ты спросил: «Зачем тебе?» Затем. Надо же знать, что писать на клетке. — Она обвела взглядом свою темноту.

— Откуда знаешь имя?

— Я теперь живу в твоей голове, мой хороший. А здесь всё разбросано. — Она провела пальцами по воздуху, как по корешкам книг на полке. — Нагнись, подними — и вот тебе имя. Вот какая-то грязная деревня. Вот запах конского пота. А вот это… — Пальцы остановились, и её брови поползли вверх. — О. А вот это уже любопытно.

— Что там?

— Тебе не понравится. — Она отряхнула пальцы, как от золы. — И стоит это дороже, чем у тебя есть.

— А тебя как зовут?

Её лицо дрогнуло и снова стало безмятежным.

— Ты разгромил мой зал. Ты убил меня — во всяком случае, попытался. Ты носишь меня в себе, как вор носит краденое в мешке. И ты даже не удосужился запомнить моё имя. — Она покачала головой. — Неслыханно. Валисса. Изволь запомнить.

— Я и своё-то не запомнил, — сказал Кайт. — Не принимай на свой счёт.

Она рассмеялась — звонко, от души — и посреди смеха ударила снова.

Боль была такой же, как в первый раз, только теперь он знал, чего ждать, и это почти помогало. Он сжал челюсти, упёрся кулаками в землю. Знак вспыхнул, выжигая кожу, снова сдвинул линии — и давление нехотя отступило.

Валисса как ни в чём не бывало поправила волосы.

— Прошу простить. Мне надлежало проверить.

— Ну и как, проверила? — прохрипел Кайт. Он посмотрел на горящие линии на предплечье, потом на неё. — Сидишь, где сидела. Побереги силы.

Её взгляд упал на знак, и улыбка стала тоньше.

— Оберег, — медленно сказала она. — От нашей магии. Демонской работы, на бродячем наёмнике. И вместе с камнем Вараса. — Это имя она выговорила с отвращением. — Камень людской, ему наш оберег не помеха.

Кайт положил руку на карман. Холод прошёл сквозь ткань в пальцы.

— Такие вещи не покупают на рынке, мой хороший, и не… — Она оборвала себя на полуслове. — Руку с кармана, сделай одолжение. Сквозит.

Хвост замер.

Кайт убрал руку и спрашивать ничего не стал.

— …и не находят в канаве, — договорила Валисса прежним голосом. — Их дают. — Она прищурилась, следя за его лицом. — И тот, кто дал, вряд ли хотел того, что вышло.

— Кто дал?

Огонь прогорал. Кайт подбросил веток и сел, привалившись к стволу старого вяза. Валисса молчала. Он почти решил, что она уснула — или что там делают демоны, когда им надоедает, — и тут знак на предплечье кольнул в третий раз.

Боли почти не было: знак вспыхнул и сразу погас, и давление схлынуло, не успев навалиться.

Кайт хмыкнул. Потом всё-таки засмеялся — коротко, вполголоса.

Валисса смотрела на него, склонив голову набок, как королева на шута, который пошутил про неё прямо в тронном зале: смешно — и почти жаль, что придётся вешать.

— Смейся, — разрешила она. — Мне нравится. Времени у нас впереди много. Я намерена его распробовать.

Края её облика поплыли: волосы, кончики пальцев стали чуть прозрачнее, как отражение в воде, по которой прошла рябь. Кайт моргнул. Огонь, усталость, вино.

Валисса изящно, напоказ, прикрыла рот рукой, подавляя зевок.

— Ты утомителен, Кайт. Я отдохну. — Она уже отворачивалась, но бросила через плечо, и голос её стал мягким, почти ласковым: — И вот ещё что. Твоя память теперь у меня. Вся, до последней крошки. Захочешь что-нибудь вернуть — придётся платить.

— Чем? — спросил Кайт.

Она обернулась.

— Тем, чего у меня больше нет. Ты сегодня выпил моё вино. Из кувшина, залпом, на пустой желудок. Я нашла это у тебя и попробовала. Вишня и дым. — Она поморщилась. — А на вкус как вода, в которой мыли кувшин. Память у тебя бледная, Кайт. Мне нужен вкус. Тепло. Всё, что живые глотают не глядя.

— И платить начнёшь сейчас, — добавила она. — Под коленом у тебя кость, я чувствую, как давит. В ней ещё мозг.

Кайт сунул руку под колено. Там лежала заячья нога, обглоданная добела, самая толстая кость из всех. Он ударил ею о валун у кострища — раз, другой, — и на третий она треснула вдоль. Мозг был жирный и ещё пах дымом.

Валисса закрыла глаза, и королевы не стало: она подалась вперёд и глотала вместе с ним, жадно и некрасиво, как глотает голодная нищенка у чужого стола.

— Дым, — сказала она, не открывая глаз. — Жир. И ни крупинки соли. Ещё.

— Больше нет.

Она открыла глаза, и королева вернулась вся, до последней костяной пластинки.

— Тогда в другой раз ешь медленнее.

— Цену называют вперёд.

— Цену называю я.

— Тогда покажи товар.

Алые глаза весело сузились.

— А это бесплатно. За смех.

Боли не было. Была картинка — резкая, яркая.

Круглый зал, пол присыпан песком. На песке лицом вниз лежит парень в сером, и песок под ним темнеет. Собственные руки — моложе, тоньше — красные до запястий. С галереи кто-то кричит его имя, раз за разом, срываясь на визг.

И её не стало.

Осталась ватная тишина. Кайт позвал её — мысленно, потом вслух. Тишина не ответила.

Он долго сидел, глядя в огонь, и тёр ладони о колени. Ладони были чистые.

Глава 2. Охотник

Кайт проснулся от голоса.

— Не дёргайся.

Голос был негромкий и ровный. Кайт и не дёрнулся. Лежал и смотрел сквозь ресницы: серая зола на месте костра, роса на траве, бледный рассвет за деревьями. Собственная рука, как выяснилось, уже лежала на рукояти меча. Когда она туда переползла, Кайт не помнил. Впрочем, он вообще мало что помнил.

— Руку с рукояти. Медленно. Не на гулянке.

Он открыл глаза. Шагах в шести, за кострищем, стоял человек, и стрела на его тетиве смотрела Кайту точно в живот.

Кайт прикинул: шесть шагов, он лежит, тот стоит, тетива натянута до уха. Пока вскочишь, пока потянешь клинок, получишь её, куда смотрит, и будешь до вечера думать, стоило ли оно того. Расклад был как в кабацкой игре, где кости принёс хозяин.

Он убрал руку.

— Теперь сядь. Помаленьку.

Кайт сел. Тело отозвалось всеми мышцами сразу: вчерашний день вернулся и предъявил счёт. Человек с луком разглядывал его без спешки — так меняла разглядывает монету с незнакомым профилем.

Лет ему было под пятьдесят. Сухой, жилистый, с тёмным от солнца лицом, на котором ветер протёр морщины глубже, чем время. Плащ выцвел до цвета палой листвы — то ли так задумано, то ли просто износился. Глаза светлые и очень спокойные.

— За зверем я шёл, — сказал охотник. — А вышел на тебя. След твой оттуда тянется. — Он едва заметно повёл подбородком на юго-запад, туда, где за деревьями остался мёртвый лес. — Из Вдовьего.

Кайт промолчал.

— Из Вдовьего живыми не выходят, — продолжил охотник. — Двадцать годов тут хожу — ни разу не видал. А ты вышел. Со стороны Чёрного замка, один.

— Может, повезло.

— Может. А может, ты мертвяк. Мертвяк, бывает, и костёр запалит: на огонь живые сами идут, ему того и надо.

— И как, похож?

— Подходил я к тебе затемно, пока ты спал. — Охотник кивнул на примятую траву у плеча Кайта. — Мертвяки иначе пахнут. Сладко, как мясо, что на солнце залежалось. А от тебя несёт потом, гарью да вином.

Кайт представил, как этот человек с ножом на поясе склонился над ним, спящим, — и отошёл на шесть шагов, вместо того чтобы решить дело одним движением.

— Лестно, — сказал он. — Мог бы и прирезать, пока я спал. Проще было бы.

— Я зверя бью. Не людей.

— А окажись я мертвяком?

— Мертвяк — он тот же зверь, почитай.

— Тогда почему лук не опускаешь?

— Потому как живые тоже разные бывают. Кто таков?

Можно было соврать: наёмник, шёл через лес, заплутал, в Чёрный замок полез спьяну, на спор. Но этот человек отличал лисий след от собачьего.

— Не помню, — сказал Кайт.

Охотник ждал.

— Очнулся вчера в темнице. Там. — Кайт кивнул себе за спину. — Как туда попал — не знаю. Кто я такой — тоже. Имя знаю, и то подсказали.

— Кто подсказал?

— Те, кто в замке остался, — сказал Кайт, и это было почти правдой.

Наконечник не дрогнул. Взгляд охотника прошёл по нему сверху вниз, цепко и неторопливо, как по следу на сырой земле: обгорелые лохмотья вместо рубахи, грязь, засохшая кровь — своя или чужая, не разберёшь. Меч в серебряных ножнах. Сапоги. На сапогах взгляд задержался. Потом охотник ослабил тетиву, но лука не опустил.

— Ночью у тебя гость был, — сказал он. — Вон там, за ручьём. Стоял долго, а следов почти не оставил. — Охотник сунул стрелу в колчан и только потом взялся за горловину мешка. — Не я, коли спросишь.

Кайт посмотрел за ручей. Серые стволы, мох, сухая трава. Ничего.

Пока охотник затягивал мешок, Кайт поднялся и перешёл ручей по камням. Во мху у самого ствола сидел один-единственный отпечаток: узкая подошва и каблук с острым краем, который ещё не сбила ни одна дорога.

— Городской, — сказал охотник. — По лесу в таких не ходят.

Кайт постоял над следом и перешёл обратно.

— Река на восходе, — сказал охотник. — Пойдёшь вниз по воде — к вечеру выйдешь к людям. Коли медведь раньше к тебе не выйдет.

— Какой ещё медведь?

— Людоед. За месяц троих взял, последнего давеча — мальчонку, подпаска. Третий день за ним хожу. — Охотник закинул мешок за плечо. — Так что возиться мне с тобой недосуг. Ступай своей дорогой.

И отвернулся, будто Кайт уже ушёл.

Кайт глянул ему в спину, потом на восток, где за деревьями якобы текла река. Еды нет. Где он и в каком королевстве, не знает. Рубаха в лохмотьях, меч, который стоит больше иной деревни, и людоед где-то между ним и людьми. А если и дойдёт, то чужак с мечом, вышедший из Вдовьего леса, в любой деревне получит вилы раньше, чем миску похлёбки.

— Стрелой его не свалить, а? — сказал он в спину охотнику. — Шкура как кольчуга. А подойти одному — значит самому к нему на ужин.

Охотник остановился.

— Тебе нужен кто-то, кто встретит его железом, пока ты бьёшь, — продолжил Кайт. — А мне — кто выведет к людям и скажет им, что я не мертвяк. По-моему, честно.

Охотник обернулся. Посмотрел на меч, потом на руку Кайта.

— Мечом махать ты умеешь, — сказал он. — Ты и во сне руку с рукояти не снимал. Так у тех бывает, кто с мечом полжизни спит.

— Проверим на медведе.

Где-то в кустах деловито засвистела пичуга. Наконец уголок рта у охотника дрогнул — не улыбка, но её дальняя родственница.

— Отстанешь — ждать не стану. И сапоги подвяжи: не по ноге они тебе, к полудню ноги собьёшь.

— Договорились.

— Гавен, — сказал охотник.

— Кайт.

Лук Гавен закинул за спину, только когда Кайт назвался. Потом развязал заплечный мешок и бросил ему сухарь и полоску вяленого мяса.

Сухарь было не разгрызть, мясо — солёное до горечи. Кайт съел всё до крошки и только тогда заметил, что Гавен смотрит, как он ест: быстро, жадно, прикрывая еду левой рукой. Охотник ничего не сказал.

* * *

Чем дальше они уходили от Вдовьего леса, тем громче становилось вокруг. К полудню лес гудел, как казарма после побудки: перекликались птицы, в подлеске что-то шуршало и топотало, над головой трещали сойки. Пахло прелой листвой, смолой и сыростью. После вчерашней мёртвой тишины от этого шума звенело в ушах.

Гавен шёл впереди и не оглядывался. Шёл неспешно, но так, что Кайт взмок раньше, чем с травы сошла роса. Под ноги охотник почти не глядел: глаза его шли по коре, по веткам, по примятой траве, и время от времени он присаживался на корточки и трогал на земле что-то такое, чего Кайт, сколько ни вглядывался, не видел.

Сам Кайт ступал почти так же тихо, как Гавен: не хрустел ветками, не шуршал листвой.

— Где мы вообще? — спросил он, когда они остановились у ручья напиться.

Гавен поднял на него глаза.

— В лесу.

— Это я заметил. Лес чей?

— Королевский. Как и всё в Тальгарде. — Охотник прищурился. — Нешто и того не помнишь?

— Тальгард, — повторил Кайт. Слово было знакомое, а откуда — не сказать. — Слово помню. Больше ничего.

Гавен смотрел на него долго, и по лицу было не понять, что для него хуже: что Кайт врёт или что не врёт.

— Замок, откуда ты вылез, — Веймор, — сказал он наконец. — Только его так никто не кличет. Чёрный замок, и весь сказ. А лес кругом — Вдовий.

— Почему Вдовий?

— Потому как вдов от него прибывает. — Гавен закинул флягу за плечо. — Кажный год кто-нибудь да уйдёт туда за золотом. Солдаты отставные, младшие сыновья, дурачьё всякое. Назад никто. Бабы потом на всю округу воют.

Кайт вспомнил скелет в соседней камере — в золочёной кирасе, с пустым мешком у ног. Промолчал.

След после полудня нашёл Гавен; Кайт увидел его, только когда охотник ткнул пальцем. На стволе старой ели, на высоте, до которой Кайт не достал бы и вытянутой рукой, кора была содрана длинными свежими бороздами. Пять борозд рядом, и в каждой проступила смола.

— Метит, — сказал Гавен. — Моё, мол.

— Высоко метит.

— Большой.

Ниже, у корней, рядом с развороченным муравейником, лежала кучка помёта. Гавен присел, поворошил её веткой, что-то вытащил, обтёр о траву и протянул Кайту на ладони.

Костяная пуговица. Крупная, грубо выточенная, с двумя дырочками для нитки.

— С Вилмовой овчины, — сказал Гавен. Голос у него не изменился, но пуговицу он сжал так, что побелели костяшки. — Вилм первый был. Дрова рубил у Сухой балки.

Дальше шли молча.

Подпаска они нашли ближе к вечеру, в низине у поваленного дуба. Людоед не съел его сразу. Он прикопал добычу про запас: завалил ветками, нагрёб сверху земли и прелых листьев, как пёс прячет кость. Из-под кучи торчала босая нога, маленькая, в синих пятнах, а рядом в траве валялся пастуший посох и чуть дальше — деревянный башмак.

Гавен постоял над кучей, опустился на колени и начал разгребать.

Кайт хотел сказать, что не надо, что смотреть там не на что и лучше запомнить мальчишку живым. Не сказал. Гавен разгребал медленно, бережно, как разбирают завал, под кото-

рым надеются найти живого. И Кайт, не помнивший ни одного своего дня, кроме вчерашнего, вдруг понял, что уже видел такое. Не этого мальчишку и не этот лес — но такие руки, такую спину и такую тишину. Где — неизвестно. Сколько раз — лучше не знать.

Мальчишке было лет десять. Медведь начал с живота.

Гавен накрыл то, что осталось, своим плащом и сидел, опустив голову. Губы у него шевелились.

— Освободитель упаси, — расслышал Кайт. — Освободитель, прими.

— Освободитель, — повторил Кайт.

Гавен поднял голову. Во взгляде у него было уже не подозрение, а что-то вроде жалости.

— Ты и это забыл? Варас Освободитель. Он в кажной деревне стоит.

Рука Кайта легла на карман с камнем.

— Слышал где-то, — сказал Кайт.

Он отошёл, чтобы не мешать, и стал смотреть по сторонам — куда угодно, только не на плащ. У поваленного дуба, в развилке корней, застрял обломок стрелы. Наконечника нет. Переломленное древко — в засохшей крови, звериной, судя по клочку бурой шерсти, прилипшему к щепе. Оперение — серые гусиные перья, обмотанные у основания красной ниткой.

Кайт вытащил обломок и молча посмотрел на колчан у Гавена за спиной. Из колчана торчали серые перья. С красной ниткой.

Гавен поднялся с колен. Увидел обломок у Кайта в руке — и на миг отвёл глаза.

— Твои стрелы, — сказал Кайт.

— Мои.

— Давно?

— С месяц. — Гавен смотрел на плащ, под которым лежал мальчишка. — Взял его на овсах, у Йостова поля. Смеркалось уж. Бил под лопатку, попал в бок. Он в чащу ушёл. Надо было следом идти, добивать. Не пошёл: темно, да и чаща та к Вдовьему. Решил — поутру. Поутру след потерял.

Кайт повертел обломок в пальцах.

— Твои стрелы его людоедом и сделали, — сказал он и бросил обломок в траву.

Гавен ничего не ответил. Только поправил колчан и пошёл по следу дальше. Шаг у него стал короче и твёрже.

Медведь нашёл их сам.

Солнце уже валилось за деревья, и в лесу потемнело — сразу и везде. След вывел их к бурелому над оврагом. Когда-то здесь прошёлся ураган, повалил ели как попало, одну на другую, и теперь стволы лежали грудой, обросшие мхом и молодой порослью. Под ногами чавкало. Со дна оврага тянуло сыростью и холодом.

Гавен остановился, присел над следом и замер. Медленно поднял голову и обернулся туда, откуда они пришли.

— Обошёл он нас, — сказал он тихо.

Кайт успел подумать, что звери так не делают. Что так делают люди. Потом думать стало некогда.

Треск за спиной был такой, будто ломался сам лес. Кайт развернулся уже с мечом в руке. У гарды вспыхнули руны, и по руке прошло знакомое тепло.

Из-за выворотня поднималась гора.

Одно Кайт знал твёрдо: медведи такими не бывают. Зверь встал на задние лапы и оказался выше его на две головы. Бурый, почти чёрный в сумерках, с проплешиной на боку, где шерсть слезла вокруг гнойной раны. Маленькие глаза. Из пасти несло тухлятиной. Обрушился он на них сверху, без рёва.

Кайт ушёл вбок и рубанул по лапе, проносившейся мимо. Клинок вошёл в мясо, Кайт почувствовал это рукой. Медведь даже не обернулся. Лапа врезалась в ствол, и полетела щепа.

Свистнула стрела, за ней другая. Обе вошли зверю в бок и застряли там, как вилы в сыром стогу. Пока медведь разворачивался на звук — тяжело, всем телом, — Кайт ударил снова: в шею, под ухо, со всего маху.

Клинок увяз, хотя удар был хороший — с плеча, с доворотом кисти; такому учат годами. Под шкурой у зверя лежал слой жира в три пальца, а под жиром — тугие мышцы, и всё это пружинило и гасило сталь. Кайт рванул меч на себя. Кровь пошла по клинку на руки. Зверь не замедлился.

Медведь ударил наотмашь. Кайт успел подставить клинок, и это спасло ему голову, но не плечо. Когти прошли по нему, как борона по пашне. Боль была такой яркой, что на миг выжгла всё — лес, сумерки, медведя. Кайта оторвало от земли и швырнуло спиной о ствол, и из груди разом вышел весь воздух.

Он сполз на землю. Меч был ещё в руке: пальцы вцепились в рукоять мёртвой хваткой. Медведь шёл к нему, переваливаясь, неторопливо, как к накрытому столу.

Кайт вскинул левую руку — плечо полыхнуло — и нацелил два пальца в зверя.

Ничего. Ни меча, ни искры. Судорога в запястье.

— Да чтоб тебя, сука, — выдохнул Кайт.

Стрела ударила медведя в морду, под глаз, с хрустом. Зверь мотнул головой и наконец взревел — коротко, зло — и повернулся к Гавену. Охотник стоял на поваленном стволе в десяти шагах и уже накладывал следующую стрелу. Та вошла в загривок. Ещё одна — в плечо.

Медведь пошёл на охотника. И подставил Кайту бок и горло.

Встать Кайт бы уже не успел. Он рванулся вперёд прямо с земли, на коленях, почти падая, и вогнал меч снизу вверх, под нижнюю челюсть. Вогнал по самую гарду. Руны вспыхнули ярче — или ему показалось. Горячее хлынуло на руки, на лицо, в рот.

Медведь осел не сразу. Сначала он ещё шагнул, и ещё раз, а затем передние лапы подломились, и вся эта гора мяса, жира и вони повалилась вперёд. Прямо на Кайта.

Темнота. Тяжесть. Запах крови и гнилья. Мокрая шерсть у самого лица. Кайт лежал под тушей, придавленный, не мог толком вдохнуть и слушал, как над ним затихает огромное сердце. Удар. Ещё удар. Долго ничего. Ещё один, слабый. Всё.

Кто-то упёрся в тушу, зарычал от натуги не хуже медведя, и тяжесть сдвинулась. Над Кайтом появилось лицо Гавена — тёмное в сумерках, забрызганное кровью.

— Живой?

Кайт подумал. Плечо горело, горел и бок: когти, видно, зацепили и там. Рёбра ныли, во рту стоял вкус чужой крови. Руки и ноги на месте. Голова на месте, хотя и гудит, как котёл, по которому треснули половником.

— Пока не решил, — сказал он.

Гавен протянул ему руку. Кайт посмотрел на неё, потом на свою — красную до локтя — и решил, что полежит, пока сердце не перестанет колотить в уши.

Перевязывал его Гавен прямо там, у туши, при свете маленького костерка, который развёл, чтобы видеть. Разорвал на полосы остатки рубахи Кайта — «всё одно не рубаха, а одно прозвание», — достал из мешка пучок сушёной кровохлёбки, нажевал и сплюнул зелёную кашу на раны. Кайт шипел сквозь зубы.

— Шить надо, — сказал Гавен, затягивая узел. — Плечо особливо. Я не умею, только испорчу. Тебе бы в Оствик, к белым. Белые даром шьют, да ещё и отмолят.

Кайт накрыл рукой правое предплечье.

— Нет, — сказал он раньше, чем успел подумать почему.

Гавен затянул второй узел.

— Тогда в Переправу. Знахарка там есть, шьёт — что твой сапожник. Дотянешь?

— А есть выбор?

— Есть. С ним остаться. — Гавен кивнул на тушу. — Только к утру он запахнет, а на запах волки придут.

Ночевать они не стали. Гавен отрубил медведю правую переднюю лапу — «для старосты, а то не поверит», — завернул в лопухи и сунул в мешок. За тушей, сказал он, мужики утром приедут с волокушей и засветло обернутся: мясо, шкура, жир — в хозяйстве всё сгодится. Затоптал костерок, дал Кайту палку вместо посоха и пошёл впереди, светя под ноги смоляным факелом.

Дорогу Кайт запомнил плохо. Темнота, факел впереди, качающийся на ходу, и собственное дыхание, которое с каждым подъёмом становилось громче. Плечо под повязкой дёргало в такт шагам. Иногда он переставал понимать, идёт он или стоит, и тогда Гавен, не оборачиваясь, бросал: «Корень», или «Яма», или «Ручей, левей бери», — и Кайт брал левей.

Где-то за полночь охотник заговорил сам.

— Мальчонка этот — Йостов младший, — сказал он, не оборачиваясь. — На руках его носил, когда он ещё ходить не умел. Всё лук мой таскал, научить просил. Я посулил. Летом, говорю, будущим.

Кайт промолчал. Что тут скажешь.

— А Вилм мне кум, — продолжил Гавен. — А Ханнес задолжал мне полсотни медяков ещё с зимы. Такие дела. — Он тронул тетиву. — Три могилы на мне.

— Ты его добил, — сказал Кайт. Слова выходили с трудом, сквозь стиснутые зубы. — Сам пошёл, сам нашёл, сам добил. А остальное — ваши с Освободителем дела.

Гавен коротко обернулся через плечо и ничего не сказал, но дальше шёл чуть медленнее.

К реке они вышли, когда небо на востоке начало сереть. Река была широкая, медленная, и на том берегу сквозь туман проступали тёмные крыши, частокол и колодезный журавль, задранный к небу, как удочка. Пахло дымом и навозом. Где-то брехала собака.

Паромщик, разбуженный стуком в дверь сторожки, долго ругался, пока не увидел медвежью лапу. Тогда замолчал и приложил раскрытую ладонь ко лбу. Гавен ответил тем же жестом. Паромщик молча взялся за канат.

На том берегу, сразу за воротами, у колодца стояла статуя.

Деревянная, в полтора человеческих роста, когда-то раскрашенная, а теперь облупившаяся до серой древесины на лице и руках. Бородатый мужчина в длинном плаще, с добрым, немного усталым лицом, поднял правую руку раскрытой ладонью вперёд — то ли благословлял, то ли останавливал; левую прижимал к груди. У ног лежал венок из сухих васильков. Левая ступня была стёрта до блеска: её годами тёрли ладонями на удачу.

Гавен, проходя мимо, коснулся её — привычно, не глядя. Кайт остановился.

Он смотрел на доброе деревянное лицо, на поднятую ладонь, на венок.

— Ты чего встал? — окликнул Гавен.

— Ничего, — сказал Кайт. — Красивый.

И пошёл следом, так и не коснувшись деревянной ступни.

* * *

Лисья Переправа узнала новость раньше, чем выгнали стадо.

Когда над крышами потянуло первым дымом, у дома старосты уже собралась половина деревни. Медвежью лапу положили на колоду у крыльца, и каждый, кто подходил, считал своим долгом её потрогать и сказать «ну и зверюга» или «Освободитель упаси». Бабы плакали, мужики хлопали Гавена по плечу так, что тот морщился. На Кайта косились, как на медведя, которого заезжий скоморох водит на цепи.

Староста, худой мужичок с глазами счетовода, долго мял лапу и вздыхал. Потом вынес тряпицу, в которой звякнуло. Пять серебряных ликов. Гавен отсчитал три и протянул Кайту.

— Про деньги уговора не было.

— Не было, — согласился Гавен. — Кабы не ты, он бы меня там и доел. Бери, пока даю.

Серебро было тусклое, стёртое по краям. На одной стороне — профиль короля с тяжёлой челюстью, на другой — раскрытая ладонь.

— Лик, — сказал Гавен. — По-простому — серебряк. За такой в корчме неделю кормят. Коли не пить.

Знахарка жила на отшибе, у самой реки, в доме, так густо увешанном пучками трав, что внутри пахло, как на лугу после грозы. Маленькая сухая старуха с цепкими пальцами и таким же цепким взглядом размотала на Кайте повязку, понюхала рану и поцокала языком.

— Кровохлёбку жевал? — спросила она у охотника. — Молодец. Хоть что-то в голове. — И Кайту: — Будет больно, милок.

Было больно. Она промыла раны чем-то, от чего у Кайта потемнело в глазах и вырвалось ругательство — длинное, затейливое, с участием чьей-то матери, козы и королевского мытаря. Знахарка даже бровью не повела. Вдела в костяную иглу вываренную нитку и принялась шить — быстро, мелко и ровно, как шорник шьёт сбрую.

— Старые шрамы у тебя чистые, — заметила она, не поднимая головы. — Ни одного гнилого. Заживает на тебе, как на собаке.

Для плеча она усадила его боком к окну и велела упереться правой рукой в лавку. Предплечье развернулось внутренней стороной к свету.

Игла остановилась.

Знахарка смотрела на звезду в овале дольше, чем смотрят на обычную наколку.

— Это что?

— Не знаю.

— Не помнит он, — вмешался Гавен от двери. — Ничего не помнит. Приложили его крепко.

— Ну так и не вспоминай при людях, — сказала знахарка и снова взялась за иглу.

Закончив, она обрезала нитку, вытерла руки о передник и сказала, не глядя на него:

— За шитьё мне Гавен должен. А за то, чего я не видала, — серебряк.

Гавен у двери кашлянул. Кайт не обернулся.

— Серебряк, — согласился он. — И за него ты скажешь, к кому с этим идти.

Знахарка подняла на него глаза. Подумала и протянула ладонь. Монета легла в неё, пальцы сомкнулись.

— Не ко мне. Я травы знаю, кости правлю, детей принимаю. В Оствике при ратуше сидит маг, из столичных. Два дня по тракту. Дерёт втридорога, но дело знает. — Серебряк исчез в кошеле на поясе. — И прикрой это. Клинки и за меньшее вешали.

— Какие ещё клинки?

— Клинки Вараса, милок. — Она хмыкнула. — Ребята хорошие, правильные. Деревни спасают. Пока не решат, что нечисть — это ты.

У вдовы мельника, чей покойный муж оказался почти одного с Кайтом роста, нашлись рубаха, штаны, потёртая кожаная куртка и шерстяной плащ — за полсеребряка. Ещё сорок медяков ушло на мешок, флягу, нож, иголку с ниткой и огниво.

Тушу привезли под вечер — на волокуше, за двумя волами. Следом шла телега, и на телеге, под плащом Гавена, лежал Йостов младший.

Хоронили на закате, за околицей, где у Переправы лежали свои. Кайт пошёл, потому что пошёл Гавен и по дороге один раз на него оглянулся.

Могилу копали двое. Йост стоял над ней и не плакал. Он был невысокий, широкий, с тёмными от земли руками и всё вытирал их о рубаху, хотя вытирать было нечего.

Когда мальчишку опустили, Йост поднял голову и нашёл глазами охотника.

— Отчего он на людей-то пошёл? — спросил он. — Сколько живу, медведь на людей не ходил.

Гавен открыл рот.

— Рана у него на боку была, — сказал Кайт раньше. — Старая, гнилая. С такой зверь на овёс не ходит. Берёт то, что ближе.

Йост посмотрел на него — на чужака в рубахе с плеча покойного мельника — и кивнул.

Чья была стрела, Кайт не сказал. Не сказал и Гавен.

Йост опустился на колени у края, протянул руку вниз и положил ладонь сыну на лоб — поверх плаща, там, где под сукном угадывалось лицо. Подержал, как держат, проверяя жар, и встал. Плащ Гавен из могилы не забрал.

Первую горсть бросил Йост. Земля глухо стукнула о сукно. На Кайта смотрели с обоих краёв ямы, а он смотрел, как люди один за другим, от Йоста до копальщиков, прикладывают раскрытую ладонь ко лбу.

Приложил и Кайт.

Засыпали молча. Охотник встал рядом с Кайтом, плечом к плечу, и стоял так, пока не вырос холмик. Уходя, хлопнул Кайта по здоровому плечу — один раз, тяжело.

Последний серебряк Кайт отдал хозяину корчмы «Лисья нора» за каморку под крышей и стол на несколько дней. Вечером в корчме поминали Йостова младшего: Йост выставил бочонок, и первую пили стоя, молча. Кайта накормили так, что он едва встал из-за стола, а потом, сидя в углу у стены, он слушал.

— …а товар весь бросили, — рассказывал за соседним столом возчик с перевязанной рукой. — Полотно, бочки, кошель на гвозде висит. А людей нет. Ни костей, ни крови. На тракте к Оствику, на той неделе.

— Нечисть, — сказал кто-то. — Её нонче что грязи.

— Щели, бают, открылись, — отозвались от стойки. — Стоит такая над землёй, как дверь без дома. Оттуда и лезут.

— А в Бережках весной Клинки девку увели, — вставил парень помоложе. — Говорят, у ней в темноте глаза светились.

— Хорошая была девка, — вздохнул возчик. — Тихая.

Он заглянул в пустую кружку.

— Ну да Клинки зря не берут, — сказал кто-то, и все закивали в кружки.

У очага потел толстяк в добротной суконной куртке. Про брошенный обоз он слушал, не поднимая глаз, а корчмарь подливал ему, не дожидаясь знака.

— Бартош, — сказал корчмарь, поймав взгляд Кайта. — Через три дня с шерстью в Оствик. По этому самому тракту.

Кайт пересел к очагу.

— Охрана есть?

— Парень один. — Бартош поморщился. — Говорят, ты медведя взял.

— Взял. Полтора серебряка до Оствика, харч твой.

— Полтора! Да я за серебряк…

— За серебряк у тебя уже есть парень. С ним и ступай. — Кайт кивнул на соседний стол, где возчик всё ещё рассказывал про кошель на гвозде.

Бартош долго смотрел в кружку и наконец протянул через стол потную руку.

В каморке под крышей, при свете огарка, Кайт распорол изнутри пояс, уложил туда камень Вараса и зашил двойным швом.

* * *

Она пришла среди ночи.

Кайт не спал. Плечо дёргало, бок ныл, соломенный тюфяк кололся сквозь рубаху. Он лежал в темноте, слушал, как внизу затихает корчма, — и вдруг понял, что тишина в голове изменилась. Она больше не была пустой.

— Я тут немного прибралась, — сказала Валисса. — Ты не возражаешь? Впрочем, мне безразлично.

Валисса полулежала в темноте его разума, подперев щёку рукой. Чёрно-багровые волосы рассыпались по плечам и по сложенному крылу, алые глаза смотрели сыто и довольно. У её локтя стоял низкий стол, а на столе — кувшин. Кайт узнал его не сразу: тот самый, уцелевший на краю разбитого стола в зале.

— Ты, — сказал Кайт.

И сам удивился тому, что шевельнулось внутри. Не злость. Что-то тёплое и совсем неуместное, как глоток вина на голодный желудок.

Валисса прищурилась, и улыбка её стала очень довольной.

— О-о, — протянула она. — Не надо так радоваться, мой хороший. Я ведь всё чувствую.

— Я не радуюсь.

— Разумеется. Ты меня ненавидишь. — Она сочувственно покивала. — У тебя это тоже очень мило выходит.

Она потянулась — томно, напоказ, — и Кайт на всякий случай стал смотреть ей в лицо.

Она налила из кувшина в чашу, которой мгновение назад на столе не было, поднесла к лицу и вдохнула. Пить не стала.

— Бледно, — сказала она и отставила чашу. — Но пахнет домом. Пока я отдыхала, ты, оказывается, жил насыщенной жизнью. Я полистала твою память. — Она перевернула невидимую страницу. — Меня, Валиссу, хозяйку Веймора, одолел человек, которого едва не съел медведь. Медведь, Кайт. Обычный. Даже не говорящий. Я требую объяснений у мироздания.

— С мироздания и спрашивай. Мне оно не докладывается.

— Мироздание всегда молчит, когда ему стыдно. — Она нацелила два пальца в пустоту, точь-в-точь как он у медведя, и сделала это так изящно, что жест стал выглядеть непристойно. — «Да чтоб тебя, сука». Великолепно. Жаль, я видела это лишь в памяти, там всё бледнее. Но смеялась всё равно. — Она облизнула губы. — Одно в твоём медведе было хорошо. Кровь. Горячая, прямо в горло. Даже в памяти — не вода.

Во рту у Кайта снова встал тот вкус, медный, с гнилью. Его передёрнуло.

— Глотал ты, не я, — сказала Валисса и недовольно поджала губы. — «Заживает, как на собаке». — Она передразнила старушечий говорок и вдруг рассмеялась — коротко, чему-то своему.

— Что смешного?

— Старуха. — Валисса махнула рукой и сменила тон: — А отцу мальчишки, у могилы, ты сказал правду ровно такой длины, чтобы она ничего не стоила. Почти изящно. Для мясника.

— Раз уж явилась, — сказал Кайт. — Парень на песке. Кто он?

— Нет. — Она даже не задумалась. — А сейчас ты спросишь, чем за это платить. Потом скажешь, что тебе плевать. А через три дня спросишь снова, только вежливее. Я тебя знаю, мой хороший.

Кайт закрыл рот.

— Вот, — обрадовалась Валисса. — Теперь ты молчишь назло. Это я тоже предвидела. Так и быть, скажу бесплатно: за медведя подобное не выдают. Принесёшь что-нибудь поинтереснее — поговорим. Пока у тебя горсть меди, дыра в боку и штаны покойного мельника. — Она закатила глаза. — Сначала сапоги, теперь штаны. У тебя страсть к гардеробу мертвецов.

Ответить он не успел. Она вдруг замолчала и склонила голову набок, будто среди его сегодняшних воспоминаний ей что-то попалось на глаза.

— А это у нас кто? Бородатый. Деревянный. С ладошкой.

Статуя у колодца. Кайт не успел ничего сказать — она уже знала.

— Освободитель, — выговорила Валисса, пробуя слово, как пробуют прокисшее вино: с отвращением, которое не хочется показывать. — Как трогательно. Люди — удивительные создания, Кайт. Поставили мяснику памятник и трут ему ногу на удачу.

Голос у неё не изменился, всё тот же ленивый бархат. Но глаза стали другими — холодными и плоскими. Потом она моргнула, и всё вернулось: и лень, и насмешка, и сладкая улыбка.

Взгляд её ушёл куда-то вбок, в его вечер: огарок, игла, распоротый пояс.

— Зашил, — сказала она. — Двойным швом. Как бабка медяки.

Крылья у неё за спиной сомкнулись плотнее.

— Ну что ж, — сказала она, отворачиваясь. — Спи. И постарайся до утра никого не убить: от твоих драк у меня мигрень.

— У тебя нет головы. Ты у меня в голове.

— Вот именно поэтому, — сказала Валисса и исчезла.

Тишина осталась обставленной. Кайт смотрел в темноту под крышей, пока не уснул.

* * *

Утром по улице застучали копыта.

Не одна лошадь и не две — много, подкованных, и шли они рысью, ровно, в ногу: кони были выученные. Кайт поднялся, морщась, и выглянул в узкое окошко под крышей.

По улице Лисьей Переправы ехали всадники. Шестеро, в серых плащах поверх кольчуг, в высоких сапогах, на хороших, сытых конях. На груди у каждого блестел серебряный знак — меч в раскрытой ладони. Ехали неторопливо, не глядя по сторонам, как едут люди, которые знают: им здесь рады.

Им и были рады. Деревня высыпала на улицу, как вчера к старостину дому. Мальчишки бежали за конями, бабы выглядывали из-за плетней, староста, на ходу натягивая куртку, спешил навстречу и кланялся ещё издалека. Кто-то приложил ладонь ко лбу. Кто-то крикнул: «Слава Освободителю!»

Последний всадник вёл в поводу не лошадь.

К луке его седла была пристёгнута длинная цепь, а на цепи шёл человек. Худой, босой, в сером балахоне с низко опущенным капюшоном. Шёл легко, не спотыкаясь, чуть сгорбившись, и время от времени поднимал голову и тянул носом воздух — как собака, которая берёт след.

Внизу, на крыльце корчмы, стоял Гавен. Кайт видел его макушку.

— Клинки, — сказал охотник кому-то рядом, и в голосе его было облегчение. — Знать, демоны где-то поблизости.

Человек на цепи поравнялся с корчмой и остановился.

Капюшон медленно поднялся — к крыльцу, к стене, к узкому окну под самой крышей. Лица Кайт не видел, только темноту под тканью. Но знал: оттуда смотрят прямо ему в лицо. Мгновение. Другое. Потом капюшон едва заметно качнулся — то ли человек кивнул, то ли Кайту показалось.

Всадник дёрнул цепь, и человек в капюшоне пошёл дальше.

Кайт стоял у окна. В голове было тихо. На миг Кайту почудилось, что там, за тишиной, кто-то с большим интересом подался вперёд.

Глава 3. Гончая

Всадники спешились у колодца, под поднятой деревянной ладонью. Цепь замотали за коновязь, и человек в балахоне сел прямо в пыль, поджав босые ноги, и больше не поднимал головы.

— Гончая, — шепнул у плетня какой-то мальчишка, и мать дёрнула его за ухо.

Слово было собачье.

Кайт обмотал правое предплечье полосой полотна, затянул узел зубами, опустил рукав и вышел на площадь одним из последних, чтобы встать позади.

Капитан был мужчина за сорок, седина на висках, лицо простое и усталое, как у мельника в страду. Ни шрама через всё лицо, ни голоса, от которого дохнут мухи. Плащ серый, как у всех, только застёжка подороже. Конём он занялся сам: ослабил подпругу, похлопал по шее и только потом повернулся к людям.

— Здравствуй, Дитмар, — сказал он старосте. — Как здоровье сына? Нога зажила?

Староста расцвёл, будто ему отсыпали серебра.

Капитан подошёл к статуе и, не глядя, коснулся стёртой ступни. В толпе кто-то вздохнул с облегчением.

— Четыре ночи назад над Чёрным замком стояло зарево, — сказал капитан. Голоса он не повышал, но слышно было даже у плетней. — Многие из вас его видели. Оно было красным. Кто знает, что это означает, тот знает; остальным знать не обязательно.

По толпе прошёл шёпот. Баба рядом с Кайтом приложила ладонь ко лбу.

— Из Вдовьего леса живыми не выходят, вам это известно лучше, чем мне. И всё же зарево было. Значит, в замке что-то произошло. Возможно, то, что там обитает, пробудилось. Возможно, к нему кто-то пришёл. Возможно, что-то вышло наружу. — Он обвёл площадь взглядом, неторопливо, лицо за лицом. — Прошу каждого, кто выходил из леса в эти дни, сделать шаг вперёд. Порядок для всех один. Честным людям бояться нечего.

Кайт почувствовал на себе взгляд. У колодца стояла знахарка в тёмном платке и смотрела прямо на него. Потом, не отводя глаз, почесала себе правое предплечье — раз, другой. Он едва заметно повёл плечом: знаю. Знахарка отвернулась.

Шаг вперёд сделал Гавен.

— В лесу я был, — сказал он. — Людоеда брал. Того, что Вилма задрал да Йостова младшего.

Кто-то в толпе всхлипнул.

— По следу до самого Вдовьего шли, и не один я был. С наёмником. — Гавен, не оборачиваясь, мотнул головой туда, где стоял Кайт. — Медведя он и взял. Я подранил, он добил. Лапа у старосты.

Про Чёрный замок Гавен не сказал ни слова.

Капитан кивнул, будто иного и не ждал, и уже открыл рот, когда староста, сияя от желания помочь, выступил вперёд:

— И ничего не помнит, господин капитан! Как есть ничего! Из Вдовьего леса вышел, а кто таков и откуда — не помнит. Приложило его, видать.

Гавен на миг прикрыл глаза.

Толпа раздалась сама собой, и Кайт оказался посреди пустого круга. Капитан нашёл его взглядом и не стал торопиться: оглядел сапоги, меч в серебряных ножнах, повязку на плече под распахнутой курткой.

— Нам с тобой нужно поговорить, — сказал капитан. — Будь любезен, не здесь.

* * *

Из «Лисьей норы» выставили всех, даже кошку. Корчмарь молча принёс кувшин пива и две кружки и исчез. Двое Клинков встали у двери. Гончую посадили на цепь у очага, и она сидела там, сгорбившись, капюшон до подбородка, — куча тряпья, которую забыли вынести.

Кайт взялся за перевязь, чтобы отстегнуть меч.

— Оставь, — сказал капитан. — Если ты захочешь им воспользоваться, мы оба сразу узнаем друг о друге всё необходимое.

Он сам налил обе кружки и одну подвинул Кайту.

— Конрад Тиль, капитан ордена. Угощайся, пиво здесь честное.

Пиво и правда было честное. Кайт отпил и переставил кружку под левую руку.

— Кайт, — сказал он.

— Мне сообщили. — Тиль отпил и вытер усы. — Откуда ты родом, Кайт?

— Не помню.

— Удобно.

— Мне — нет.

Тиль чуть приподнял бровь.

— Где ты находился четыре ночи назад?

— Не знаю. Четыре ночи назад меня, похоже, вообще не было. Очнулся — и ничего. — Он пожал здоровым плечом. — Имя помню. Как меч держать — помню. Остальное как в решето ушло.

— Где именно ты очнулся?

— В лесу, — сказал Кайт. Темница и была в лесу.

Тиль медленно кивнул и посмотрел на меч у Кайта на поясе. На серебряные ножны. На рукоять.

— Серебряные ножны у наёмника, который не помнит, откуда он родом. Такие ножны стоят дороже этой корчмы вместе со всеми её посетителями. А то, что в них, — ещё дороже.

— Может, я его украл.

— Возможно, — согласился Тиль. — В таком случае у кого-то пропал очень дорогой меч. А такие люди, как правило, ищут свои вещи.

Под рёбрами, под швами знахарки, стало холодно, и холод поднимался всё выше.

— Ого, — протянула Валисса у него в голове. — Ты боишься. Ты почти никогда не боишься. Что там?

Кайт смотрел в кружку и держал лицо. Это оказалось труднее, чем держать меч: меч хотя бы не разговаривал.

— Меч меня не интересует, пусть его ищет владелец, — сказал Тиль. — Я здесь из-за того, что вышло из Вдовьего леса после красного зарева. А вышел оттуда ты. — Он отставил кружку. — Обычная проверка, Кайт. Рукава.

Кайт поднял на него глаза.

— Знаки, — терпеливо пояснил Тиль. — Культисты и прочие демонопоклонники метят себя на руках.

Левый рукав Кайт закатал сразу: плечо в швах знахарки, а ниже — жилистая рука в старых белых шрамах, и больше ничего. С правым он не торопился. Тиль ждал. Рукав пополз вверх и открыл полосу полотна, намотанную на предплечье.

— Медведь драл тебе плечо и бок, — сказал Тиль. — А руку?

— Об сук.

— Будь добр, покажи.

Кайт медленно потянул узел — и у очага звякнула цепь.

— Подведите, — сказал Тиль, не оборачиваясь.

Клинок у двери снял цепь с крюка, и гончая подошла к столу. Шла она бесшумно, чуть сгорбившись, и на ходу тянула носом воздух. Она остановилась вплотную, и Кайт впервые увидел лицо под капюшоном.

Женщина. Лет тридцати, худая, стёртая, как ступня деревянного Освободителя; волосы острижены под корень. Через щёку тянулся старый рубец, на шее сидел железный ошейник, и на нём, под самым подбородком, была выбита печать: круг, а в круге раскрытая ладонь. Под печатью, там, где ошейник съехал вбок, кожа была в старых ожогах — тот же круг и ладонь, только смазанные, оттиснутые много раз и каждый раз чуть мимо. Глаза были светлые, почти белые, и смотрели мимо Кайта, вокруг него, по краю.

А потом гончая взяла его за правую руку, выше запястья.

Пальцы были сухие и горячие, и Кайта продрало до затылка.

В голове у него разом стало тихо, как в доме, где кто-то затаился.

Пальцы сжались. Не так, как у гончей, взявшей след, — так хватаются за перила, когда нога ушла со ступени. Ногти вошли в кожу. Она не дышала.

— Чего встала? — Клинок за её спиной дёрнул цепь.

Ошейник рванул её назад, и она подалась за цепью — но, уже выпуская руку, успела склониться к самому его лицу.

— Кайт. — Губы почти не шевельнулись. — Молчи.

И тут же рванулась на цепи к окну, так что Клинок, только что тянувший её назад, едва устоял на ногах.

— Река! — завыла она, и в голосе не осталось ничего человеческого. — Река! Свежее! Сильное! Там!

Тиль вскочил так, что стол качнулся и пиво плеснуло через край.

— Где? Как далеко?

— Вниз! Вниз по воде! — Гончая билась на цепи, выворачивая шею к окну. — Уходит!

Тиль подхватил со скамьи перевязь.

— По коням! Мартин, бери двоих — берегом, остальные со мной. — На пороге он обернулся. — Не покидай деревню, Кайт. Вечером я посмотрю на твою руку.

Дверь хлопнула. На улице зазвенели удила, кто-то закричал, заржали кони, и топот покатился вниз, к реке, и стих.

Кайт остался за столом один. В кружке Тиля ещё качалось пиво, рука выше повязки хранила тепло чужих пальцев.

* * *

В каморке под крышей пахло пылью и прошлогодним сеном. Кайт сел на тюфяк спиной к стене.

Валисса молчала с тех пор, как сухие пальцы легли ему на руку. Ни шпильки, ни зевка.

Он позвал её — про себя, потом шёпотом. Тихо.

Тогда Кайт закрыл глаза и отчётливо, со вкусом подумал, что с таким корсетом только в портовом борделе гостей встречать. Да и там бы торговались.

— В портовом, — сказала Валисса.

Она сидела в самом дальнем углу его темноты, спиной к нему, поджав ноги, и тёрла правое запястье — долго, с силой. Волосы висели как попало, крылья обвисли. Обернуться она не соизволила.

— Мой хороший, я брала за ночь графство. Однажды два, но второе оказалось болотистым, и я его вернула.

— Объявилась всё-таки.

— Я никуда не девалась. Я была занята.

— Чем?

— Отмывалась.

Кайт посмотрел на собственную руку. Повязка была чистая.

— В корчме ты спросила, что там, — сказал Кайт. — А как она взяла меня за руку, сразу затихла.

— Тварь на цепи тянулась тебя обнюхать. Меня она не увидела и не увидит: не по зубам. А вот тебя — всего, до донышка. Я и притихла.

— Нюхают не так.

Тут она наконец обернулась.

— Ты стоял к ней ближе меня. Что ты почувствовал, когда она тебя взяла?

Кайт вспомнил.

— Вот, — сказала Валисса. — Тебя читали. Так умеем только мы. — Она брезгливо повела плечом. — Как видишь, уже не только.

— Она смотрела мимо меня. По краю. Что она там видела?

— Тебя. — Она снова взялась за запястье. — Ты не держишь ману. Она висит вокруг тебя, как дым над костром. Маги зовут это аурой. Кто умеет смотреть — видит издалека. А кто возьмёт за руку — увидит, как ни прячь.

— Как заткнуть?

— Держи её в кулаке, у самой кожи, чтобы наружу ничего не сочилось. Этому учат на первом году академии.

— Какой академии?

— Той, где ты учился. — Валисса улыбнулась, будто протянула ему подарок, завёрнутый в крапиву. — Ах да. Ты же не помнишь.

Кайт попробовал. Под рёбрами было тепло, ровное, своё, — и всё. Где у этого тепла кулак, он не знал.

— Она меня знает. Не с капитановых слов — знает. Она в меня вцепилась так, будто падала. Ты в моей голове роешься, как в своём сундуке. Кто она?

Она перестала тереть запястье.

— В твоей памяти её нет. Я бы заметила. Дно у тебя, к слову, странное. А про кровь спросишь, когда будет чем платить.

— Какую кровь?

— Видишь — уже торгуешься.

— А она меня знает. И тебя это бесит.

— Меня злит, когда кто-то знает о моих вещах больше, чем я.

— Я не твоя вещь.

— Ты мой дом, — сказала Валисса. — Это хуже. Из дома не уходят.

— Тогда камень. Рыцарь от него на шаг шарахнулся, а его, похоже, ничем не напугаешь. А у тебя от деревянного мужика у колодца глаза заледенели. Ты знаешь, что это за штука.

— Об этом… камне, — она запнулась, будто слово обожгло ей губы, — я знаю больше, чем хотелось бы.

— Почём?

Она просияла.

— Каприз. Крошечный. Ты пойдёшь на площадь, к своему деревянному красавцу с ладошкой, и плюнешь ему под ноги.

— При всей деревне? Ты в своём уме?

— Клинки уехали. А деревня — это публика. Без публики неинтересно.

— Когда стемнеет.

— Сейчас.

— Когда стемнеет, или никак. Меня вздёрнут до обеда — кому ты будешь капризничать?

Она подумала — всерьёз, долго.

— Когда стемнеет, — согласилась она и отвернулась обратно в свой угол. — И вот что, Кайт. Если эта тварь ещё раз тебя тронет — отруби ей пальцы. Не то я отгрызу твои.

* * *

Клинки вернулись с реки к вечеру — шагом, перемазанные илом по колено, кони в грязи по брюхо. Никто не разговаривал. День Кайт просидел наверху. Бежать днём полем было некуда, а обоз Бартоша тронется только через два дня. Теперь ему нужно было знать, что они привезли с реки. И тот, кто сидит в каморке, пока вся корчма глазеет в окна, — первый, на кого посмотрят. Кайт спустился на крыльцо.

Во дворе «Лисьей норы» Тиль спешился и подошёл к гончей. Двое Клинков поставили её на колени. Деревенские, кто был во дворе, примолкли, кто-то увёл детей.

— Шесть вёрст по берегу, — сказал Тиль. — Ни следа, ни запаха. — Он присел перед гончей на корточки, чтобы глаза были вровень. — Двенадцать лет я вожу гончих. На свежем следу вас вдвоём на цепи не удержишь, Мартина из седла выдёргивает. А ты плелась за конём, как тёлка на верёвке, и ни разу не подняла носа. Следовательно, ты солгала. По уставу я обязан спросить: зачем?

Гончая молчала.

— Зачем?

Молчание.

Тиль вздохнул, взял у Клинка цепь, намотал на кулак и сказал одно слово — буднично, как подзывают собаку. Кайт с крыльца его не расслышал.

Печать на ошейнике вспыхнула белым.

Она не закричала. Её выгнуло дугой и бросило в пыль. Пятки застучали по утоптанной земле, пальцы вцепились в горло, и между ними пробивался белый свет. Запахло палёным.

Тиль подождал, пока свет погаснет.

— Зачем?

Молчание.

Второе слово. Снова белое, снова пыль, пальцы, пятки. У ворот какая-то баба охнула и тут же зажала себе рот.

На третьем гончая закричала — тонко и высоко, по-детски.

Ни пинка, ни ругани. И голос у Тиля был тот же, каким утром он справлялся у старосты о ноге сына.

Рука Кайта лежала на рукояти. Шестеро Клинков: двое у гончей, капитан, трое у коновязи. Двор, откуда некуда отступить. Деревня, которая через миг будет за них.

Пальцы на рукояти разжимались по одному, будто их приходилось отдирать.

Гончую подняли под руки. Голова у неё моталась, ноги не держали, и Клинки поволокли её к конюшне. Мимо крыльца, в трёх шагах от Кайта.

Она на него не посмотрела.

Тиль выпрямился, отряхнул колени и поднял глаза на крыльцо — на Кайта, на руку, которая только что отпустила рукоять. Задержал взгляд на удар сердца.

— Утром, Кайт, — сказал он. — Сегодня у меня, прошу прощения, не осталось сил на чужие руки. — И повернулся к своим: — Мартин, сядь у двери. Дитмар, мы стоим у тебя, пока я не скажу иначе.

Кайт поднялся к себе и сел на тюфяк. За дверью скрипнула лавка: Мартин устраивался на ночь. Окно было маленькое, но пролезть можно. Кайт выглянул — во дворе под окном никого. Выглянул, когда внизу перестали греметь посудой, — опять никого.

Ночью он вылез.

Каморка была под самой крышей, за окном — скат над конюшней, а оттуда до земли два человеческих роста и навозная куча, на которую не жалко прыгать. Мешок и меч он сбросил первыми. Плечо под швами взвыло, когда он повис на руках. Кайт выругался шёпотом и разжал пальцы.

Навоз принял его мягко. В конюшне всхрапнул конь, переступил и затих.

А потом за стеной, в соломе, звякнуло. Цепь поползла по доскам — медленно, звено за звеном, — и ползла она к той стене, у которой он стоял.

Кайт замер. Видеть его сквозь доски гончая не могла.

Он положил руку на доски. Дерево было тёплое от конского дыхания, и за ним, в трёх пальцах от его руки, кто-то дышал — часто и мелко, через боль.

Кайт считал. Кольцо в столбе. Ключ от цепного замка — у Мартина на поясе. Ошейник клёпаный, без замка.

Он снял руку с досок. Цепь за стеной больше не двигалась.

Кайт выждал десяток вдохов и пошёл к площади.

Деревня спала. Площадь у колодца лежала пустая и серебряная от луны. Деревянный Освободитель стоял с поднятой ладонью. В темноте лицо у него было ещё добрее, чем днём.

Кайт плюнул на стёртую до блеска ступню.

Валисса рассмеялась.

— Ради меня ты бы так не плюнул, — сказала она.

— Я заплатил.

— И я не в долгу, — сказала Валисса. — Слушай.

Кайт отошёл в тень, к плетню, и присел на корточки, привалившись спиной к жердям.

— Посмотри на него, — сказала Валисса. — Не на ногу. Выше. Днём ты пялился на него с площади, пока шея не затекла. Я успела рассмотреть.

Кайт поднял глаза. Левую руку резчик прижал Освободителю к груди и сжал в кулак, а из кулака выглядывало что-то круглое, с орех, когда-то выкрашенное в чёрное.

Кайт тронул пояс. Камень под двойным швом был на месте.

— Сто лет он не выпускал этот камень из рук, — сказала Валисса. — Ещё сто камень целовали в сокровищнице Храма. А теперь он у тебя в штанах.

— Значит, его оттуда вынесли. И недавно.

— А вот это в уговор не входило. — Она хмыкнула. — Зато скажу вот что: если твой учтивый капитан найдёт его у тебя, тебя не повесят.

— Уже легче.

— Не повесят сразу, — уточнила она. — Сперва отвезут в столицу и станут спрашивать, кто украл его из сокровищницы. Спрашивать они умеют: ты сегодня видел как. А вешать будут потом. И долго.

На тёмной ступне статуи высыхал его плевок.

— Что он делает? Камень.

— Ест. Таких, как я. Целиком.

Кайт ждал продолжения.

— К магу не ходи: за демонскую работу на руке Клинки платят серебром, а маги серебро любят. В Оствике тебе в «Гусиное перо».

— Зачем?

— Это не тебе подарок, а мне. По твоей памяти, там тебя знают. И оттуда ты пошёл ко мне. Того, кто тебя ко мне отправил, я в твоей памяти видела. Толку мало. Хочу знать остальное.

Больше она ничего не сказала, но и не ушла.

У соседнего плетня кто-то негромко кашлянул.

— Я ничего не видал, — сказал Гавен.

Он вышел из тени без лука, в одной рубахе, будто вышел до ветру и забрёл не туда.

— Совсем ничего?

— Совсем. — Охотник остановился в двух шагах. — А увидит кто другой — вздёрнут. И я не заступлюсь.

— Справедливо.

Гавен опустился на корточки у того же плетня. Где-то за рекой брехала собака, лениво, для порядка.

— Утром ты им не всё сказал, — заметил Кайт.

— Я им не брехал.

— А я и не говорю, что брехал. Не всё сказал.

Гавен пожал плечами.

— Один мой знакомый тоже держал догадки при себе, — сказал Кайт. — И тоже ни разу не соврал.

— Умный, видать, мужик.

— Мёртвый. — Кайт подумал. — Хотя по нему не скажешь.

Гавен посмотрел на мокрую ступню статуи и ничего не сказал.

— Правильные они, — сказал он погодя, глядя на деревянное лицо. — Позапрошлым летом в Бережках упыри полдеревни вырезали, так они пришли и за ночь всё вычистили. Я там был, видал. — Он поскрёб бороду. — И нонче во дворе был. Тоже видал.

— Бартош со своей шерстью собирался через два дня, — сказал Кайт. — После сегодняшнего двора ждать не станет. Уйдёт затемно.

Гавен глянул на него с новым интересом.

— Задами, через выгон, — подтвердил он, — чтоб Мартину глаза не мозолить. Бартош меня знает. Скажешь — от Гавена, он лишнего не спросит. Только Тиль не дурак, учти.

— Знаю.

— Утром спросят — брехать не стану, — сказал Гавен. — Скажу, что ввечеру видал тебя во дворе. А куда ты после подался, про то пусть Мартина спрашивают: он у двери сидел, не я.

— Мартин скажет, что глаз не сомкнул.

— А нешто скажет, что проспал?

Он сунул Кайту в руки узелок, увесистый и ещё тёплый. Пахло хлебом и копчёным салом.

— На два дня хватит. В Переправу не возвращайся.

— Не вернусь, — сказал Кайт. — Тебе за меня утром ещё отвечать.

И ушёл, не прощаясь.

* * *

Бартош потел даже в предрассветный холод. На имя Гавена он только крякнул.

— От Гавена, значит. Ну, коли от Гавена… — Он вытер лоб. — Харч мой, плата в Оствике, по уговору. Ступай к задней телеге, мил человек, да меч держи поближе.

Три телеги шерсти: тюки доверху, перехвачены верёвками. Два возчика, братья. И охранник — Ворэн, парень лет семнадцати, с дешёвым мечом, который он, похоже, начищал каждый вечер и ещё не вынимал по делу. Он посмотрел на меч Кайта и потом весь день старался держаться поближе.

Выгоном выехали в тумане. Кайт шёл у задней телеги и не оглядывался. Позади спала Переправа, во дворе корчмы фыркали кони Клинков, а у двери, надо думать, клевал носом Мартин.

Туман сошёл к утру, и пошёл тракт: пыль, колеи, сухая трава по обочинам. Мимо проплыл придорожный идол Освободителя — грубый, из цельного бревна, с ладонью, вырублен-

ной топором в три удара; у подножия кто-то оставил горсть овса. Потом верстовой столб. Потом ещё один. Плечо ныло в такт шагам. Возчики переругивались с волами, Ворэн рассказывал, как его дядя однажды видел упыря, и с каждым разом упырь становился выше.

Дорога взяла на бугор, и там Кайт оглянулся — один раз. В низине у реки туман ещё лежал, но уже сползал с воды рваными клочьями. Под Переправой, берегом, вниз по воде, прочь от тракта шли шестеро конных. Перед передним, на длину цепи, по мокрой траве бежало серое — носом в землю, внатяг, и переднего тянуло из седла. Вчера Тиль сам сказал ей, как выглядит свежий след. Сегодня она ему показывала. Кайт отвернулся и догнал телегу.

«Молчи».

Кайт попробовал вспомнить её — до цепи, до рубца, с волосами, моложе. Ничего. Только белые глаза под капюшоном и его собственное отражение в луже у колеи, да и то мутное. Зато был Оствик, а в Оствике — «Гусиное перо», где его, если верить Валиссе, знали. Кто-то там помнил его до замка. Больше у него ничего не было, и за день пути Кайт решил, что для начала хватит.

К полудню вышли к перекрёстку, где дорога из Переправы вливалась в большой тракт на Оствик. На перекрёстке стояла виселица, на виселице висел человек — давно, вороны поработали. На груди у него болталась доска: «УКРЫВАЛ НЕЧИСТЬ».

А за виселицей поперёк тракта лежала жердь шлагбаума. У жерди горел костерок, у костерка сидели четверо в серых плащах; поодаль паслись стреноженные кони, один гнедой — под седлом. Пятая, у самой жерди, сидела на земле, и от её шеи к колышку тянулась цепь.

— Всех мимо неё. По одному, — сказал старший, плотный, с перебитым носом.

Гончая у жерди была обрита наголо, на шее — тот же ошейник с печатью. Прошли возчики, Ворэн, Бартош; она не повернула головы. Кайт пошёл последним.

На четвёртом шаге гончая поднялась на колени, цепь натянулась, и пальцы с обкусанными ногтями потянулись к его рукаву.

До гнедого было шесть шагов. Кайт перенёс вес на левую ногу.

Тепло под рёбрами сжалось в ком и ушло под кожу. Кайт стиснул зубы так, что во рту стало солоно.

Гончая замерла, пальцы повисли у самого рукава. Повела носом влево, вправо, заскулила и на коленях уползла к колышку.

— Опять дурит, зараза, — сказал старший. — С самого зарева не в себе. Проезжай.

Кайт прошёл мимо жерди. Спиной он чувствовал взгляд гончей.

Хватку он держал, пока перекрёсток не скрылся за холмом. Потом отпустил — и его бросило в жар так, что пот выступил по всему телу, а ноги стали ватными. Кайт сплюнул в пыль красным и ухватился за борт телеги.

Бартош покосился на плевок и ничего не спросил.

Валисса молчала до самого вечера.

* * *

Прошлый обоз они нашли под вечер.

Бартош знал, где это, и весь день делал вид, что не знает: болтал про цены на шерсть, про ярмарку, про тёщу. Чем ниже садилось солнце, тем громче он болтал. А потом замолчал на полуслове.

Две телеги стояли в канаве у обочины, будто их аккуратно туда отвели. Волы так и остались в упряжи — вернее, то, что от них осталось: пали от жажды, не дождавшись, пока кто-нибудь их распряжёт, а вороньё за неделю доделало своё. Тюки с полотном были целы, только отсырели и снизу пошли зеленью. Бочонок с соленьями никто не тронул. На гвозде у передка висел кошель, и медь в кошеле была.

Кайт видел, как Ворэн смотрит на этот кошель. Видел и то, как старший возчик молча дёрнул парня за рукав.

На вытоптанной траве у обочины чернело кострище. Над холодной золой на рогатине висел котелок, и в котелке, под коркой плесени, была каша. Рядом лежали ложки, пять штук. Миска на камне стояла полная. Кто-то сел ужинать — и не доел.

Ни крови. Ни тел. Ни сломанной оглобли, ни взрытой земли, ни бурого пятна на траве, хотя Кайт обошёл стоянку дважды и смотрел так, как смотрел бы Гавен.

Зато были следы. Босые. Начинались они прямо у кострища, где стояли сапоги — пять пар, аккуратно, рядком, голенище к голенищу, как ставят у порога, вернувшись домой. И уходили в лес цепочкой, один за другим, ступня в ступню, без единой запинки.

— Освободитель упаси, — сказал Бартош. Голос у него сел. — Едем. Всю ночь едем, без остановки.

Волы рассудили иначе. Через версту они встали, и ни кнут, ни ругань, ни уговоры не сдвинули их с места: волы шли с рассвета, и им было всё равно, кто там в лесу. Пришлось распрягать.

Костёр развели большой — Бартош сам таскал хворост, чего за весь день не делал, — и легли вокруг огня тесно, плечом к плечу. Кайт взял первую стражу. Сел спиной к колесу, лицом к лесу, с мечом поперёк колен.

Ворэн сел по другую сторону огня и, подкладывая хворост, замурлыкал что-то себе под нос — простое, тягучее.

— Чего завёл? — буркнул Бартош.

— Привязалось. — Парень и сам удивился. — С обеда крутится, не знаю откуда.

— Вот и не крути. Не к ночи.

Ворэн замолчал. Кайт не сделал и трёх вдохов, как тот начал снова, тише, и уже не заметил этого.

Лес затих, как затихает человек, который затаил дыхание и ждёт, пока ты отвернёшься.

— Криво, — сказала Валисса.

Кайт не сразу понял, о чём она.

— Кулак твой. Первогодки так держат ману, когда боятся её уронить: зубы в щёку, глаза навыкате. — Она лежала в своей темноте на спине, закинув руку за голову, и на него не смотрела. Крылья под ней лежали смятые, одно подвёрнуто. — Но удержал. Сам, так и не вспомнив как.

«Тебе какое дело?» — спросил Кайт, не разжимая губ.

— Ты и меня сжал, — сказала она. — Вместе со своим теплом. Я до вечера пролежала, как в сундуке под крышкой.

«И как там, в сундуке?»

— Больше так не делай.

«Ты сама сказала: кулак».

— Твой. Про меня уговора не было.

«А то что?»

Она повернула голову.

— А то посмотрим, кто из нас кого сожмёт.

По ту сторону костра храпел Бартош, ворочался на подстилке Ворэн.

«Та, в корчме, видела меня насквозь, — сказал Кайт. — Ещё и за руку держала. И соврала».

— Соврала. Вот это мне и не нравится.

Она снова отвернулась.

— Завтра будешь сжимать снова. Медленно, по пальцу, и меня не трогать. Учительница я строгая, а ученики у меня обычно…

Она не договорила.

Сначала Кайт решил, что ему послышалось. Потом понял: это Ворэн. Парень сидел на своей подстилке и напевал то же, что у костра, — без слов, с закрытым ртом. Только теперь он не подкладывал хворост. Он просто сидел и пел.

— Спи, — сказал ему Кайт. — Прогорит — разбужу.

Ворэн не ответил. Он стянул правый сапог. Потом левый — шнурок не поддавался, пальцы дёргали его, и он не замечал, что дёргает. Поставил сапоги рядом, аккуратно, голенище к голенищу. Встал и, всё так же напевая, пошёл к деревьям.

Кайт в два шага догнал его и схватил за плечо. Ворэн обернулся.

Глаза у него были открыты и пусты. Он смотрел сквозь Кайта, улыбался и пел.

И из темноты леса ему ответили.

Ту же мелодию — простую, тягучую, без слов — тянули голоса, много голосов: мужские, женские, хриплые, тонкие, и один, кажется, совсем детский. Они шли из-за деревьев со всех сторон сразу, ближе и ближе, и пели слаженно, не сбиваясь.

Плечо Ворэна под рукой тянуло к лесу.

— Ну наконец-то, — сказала Валисса.

«Что это?»

— Еда. — Она села в своей темноте к столу. — Не твоя. Моя. Кто-то из наших пасёт здесь людей, как коз. Чувствуешь, как у тебя за лбом чешется? Это он стучится. Только там занято.

Кайт чувствовал. Мотив скрёбся где-то за лбом, искал щель — и не находил. Что значит «занято», он не стал спрашивать.

Ворэн шагнул. Кайт дёрнул его назад — парень не сопротивлялся и не останавливался, он просто шёл, как идёт вол, и оттащить его было не легче, чем вола.

Голоса стали ближе. Бартош сел на подстилке. Один погонщик прижал ладонь ко лбу и бормотал Освободителю. Второй молчал — и губы у него шевелились в такт песне.

— Запрягай, — сказал Кайт.

— Волы не…

— Запрягай.

Он не повысил голоса. Бартош полез к волам — и один раз замер с хомутом в руках, лицом к лесу, пока Кайт не окликнул его по имени.

Ворэна Кайт сбил с ног, уложил на спину и прижал коленом, пока второй погонщик вязал ему руки вожжами. Вязал медленно, всё медленнее, и на третьем узле Кайт увидел, что тот бросил вязать: держит вожжи и смотрит в лес. Кайт ударил его по рукам. Погонщик вздрогнул и довязал.

Парень не отбивался. Лежал, смотрел в небо и пел.

Хор в лесу не замолкал — не приближался и не отступал. Он ждал, и Кайт понял, что ждут не Ворэна: Ворэн уже их. Ждут остальных. Утром все четверо будут стоять там босые, и он с ними.

Бежать от того, что уже пришло, было глупо. Идти к нему с незажившим плечом и ногами, которые ещё с заставы держали через раз, было не умнее. Но туда он пойдёт с мечом и на своих двоих. А здесь к утру пойдёт босиком и без меча.

«Поможешь?» — спросил он, вытягивая меч.

— Нет, — сказала Валисса. — Иди. Я хочу посмотреть, что ты с ним сделаешь.

Лес принял его, как чужого. Ветки хлестали по лицу, корни ловили за ноги, а голоса были везде и нигде — пока деревья не кончились.

Овраг. Неглубокий, со склонами в человеческий рост, и на дне его, в полной темноте, стояли люди. Кайт их не видел, пока не услышал: они стояли кругом, лицом внутрь, плечом к плечу, как ложились у костра обозники, и пели. Пять человек. Один голос среди них был детский, и Кайт поискал глазами ребёнка и не нашёл.

В середине круга кто-то был. Это Кайт понял по тому, куда были обращены лица.

Он спустился по склону, и тот, кто стоял ближе, повернулся. Мужик в одной рубахе, лицо серое, щетина недельная. Глаза те же, что у Ворэна. Нападать он не стал: взял Кайта за руку, мягко, и потянул в круг. Второй взял за другую. Они не держали, а приглашали, и это было хуже.

Рубить их Кайт не мог. Он ударил того, что справа, рукоятью в висок — мужик качнулся, не отпустил и запел дальше. Тогда Кайт развернул клинок и полоснул по руке, что держала, — неглубоко, царапина.

Мужик замолчал. Разом, как обрезали. Рука отпустила, глаза мигнули — и он рухнул лицом в листья, тяжело, всем весом.

Кайт посмотрел на меч. Руны у рукояти тлели — ярче прежнего.

Рубить не надо. Надо коснуться.

Дальше он шёл через круг боком и бил плашмя: по плечу, по ладони, по голой шее. Каждый, кого задевал клинок, замолкал и падал, и с каждым упавшим круг редел, а песня становилась тише и злее. Детский голос замолчал третьим, и Кайт увидел, кто им пел.

Он стоял в середине, там, куда были обращены все лица. Долговязый, выше Кайта на голову, худой до того, что сквозь рубаху — чужую, с чужого плеча — проступали рёбра, все наперечёт. Лицо было человеческое и не было: слишком гладкое, слишком длинное, и рот на нём был закрыт. Он пел горлом. Горло ходило под кожей, как у лягушки, и из него шли все голоса сразу — мужские, женские и тот, детский, который теперь оборвался.

Он смотрел на Кайта. И песня перестала быть везде — она стала здесь, у Кайта во лбу, и надавила.

Ноги согнулись сами. Меч потянул руку вниз пудом железа. Мотив — простой, тягучий — вошёл в голову сразу, мимо ушей, и Кайт услышал, как сам тянет его сквозь зубы. Это было хорошо. Это было спокойно. Надо было только сесть, снять сапоги и…

Валисса молчала. Ни слова, ни звука — там, где она была, стояла тишина, плотная, как стена, и песня билась об эту стену и не проходила дальше. Но до стены она доходила, и этого хватало.

Кайт опустился на одно колено.

Думать он перестал. И в тот миг, когда думать стало нечем, тело вспомнило само: пальцы левой руки сложились, вокруг вспыхнуло белое — четыре коротких клинка света ударили в никуда, — и ночь на миг стала днём.

Долговязый отшатнулся от света. Песня сбилась — на один удар сердца, на один вдох, — и в эту щель Кайт встал.

Он успел сделать два шага. И долговязый оказался рядом — быстрее, чем положено такому тощему, — и пальцы, длинные и твёрдые, как корни, сомкнулись на левом плече Кайта. На том плече. Швы лопнули, тёплое потекло под рубахой, и Кайт закричал — не от боли, а чтобы не слышать песни.

И ударил снизу, под подбородок, туда, где ходило горло, — в саму песню. И песня порвалась о клинок так же, как рвалась в людях, — только теперь у корня.

Песня кончилась.

Разом, без последнего звука, будто её и не было. Долговязый открыл рот — впервые — и ничего из него не вышло. Потом он осел и рассыпался: не кровью, не мясом — серой трухой, которая сразу стала холодной. Чужая рубаха легла на листья пустая.

Кайт стоял над ней, дышал и слушал, как кровь капает с локтя на листья.

Люди лежали, как упали. Кайт пошёл по кругу и переворачивал их. Первый — тот, в рубахе, — был мёртв: не ранен, не задушен, просто мёртв, как бывают мертвы те, кто неделю не ел и не спал. И второй был мёртв. Женщина с седой косой дышала — слабо, с присвистом — и перестала, пока он держал её за запястье.

Пять. Пять пар сапог стояли у холодного костра на тракте, голенище к голенищу. Он не спас ни одного.

Ворэна он нашёл там, где оставил, — связанного, на спине. Парень не пел. Он плакал, тихо, по-детски, и спрашивал у погонщика, который сидел рядом с топором на коленях, почему у него связаны руки. Волы стояли в упряжи. Бартош держал вожжи и смотрел на Кайта — на кровь, на меч, на лес за его спиной — и ничего не говорил.

— Кончилось, — сказал Кайт. — Распрягай.

Он сидел у колеса, пока погонщик, сопя, сшивал ему плечо — вторую нитку за три дня, — и смотрел в лес. В лесу было слышно обычное, ночное: где-то ухала сова, в прошлогодней листве возилась мышь.

— Безымянный, — сказала Валисса. — Мелочь. Из младших, из тех, кому даже имени никто не дал. У нас таких едят, не спрашивая, и никто не придёт спросить. — Она облизнула клык. — А ты отправил его домой.

«Я его убил».

— Ты его выпроводил. Железом нас не убить, железом нас только выставляют за дверь: он очнётся там, где ему место, тощий и злой, и лет сто будет помнить твоё лицо.

«Сам он сюда не дошёл бы».

— Пролез в щель.

«Оттого и Клинков на дорогах столько», — сказал Кайт.

— Оттого. Мы их и кормим. — Она прищурилась. — Этим же мечом ты резал мой кнут. Я тогда подумала: хорошая работа. Теперь думаю: слишком хорошая.

Кайт ничего не сказал.

«Как бы ты его съела? — спросил он потом. — Отсюда».

Она молчала долго. Так долго, что он решил: ушла.

— Не знаю, — сказала Валисса. — Я всегда знала, что сделаю с любым, кто встанет у меня на дороге. Сегодня не знала. Я не люблю первые разы.

Больше она не сказала ничего, и на этот раз ушла.

Утром Бартош не сел с ним к костру. Не сели и погонщики. Сало ему пододвинули по земле, молча. Ворэн сидел на своей подстилке и шнуровал сапоги. Руки у него тряслись, шнурок не слушался, и он начинал снова, и снова, и помочь не попросил. Кайт ел сало и не помогал. Только сел так, чтобы видеть его сапоги, и до самого отъезда не сводил с них глаз.

Перед тем как тронуться, Бартош подошёл. Постоял.

— В Оствике, — сказал он, глядя на волов, — я тебя не знаю. Полтора серебряка твои, довезу, как обещал. А дальше — не знаю и не видал.

— Договорились, — сказал Кайт.

Обоз тронулся. Тракт пошёл в гору, лес отступил к горизонту, и к вечеру за полем показались стены Оствика. Ворэн посмотрел на них и зачем-то потрогал шнурки на сапогах — на месте ли.

Глава 4. Гусиное перо

Пошлину у ворот брали по головам: медяк с человека, два с воза. Стражник в кожаном нагруднике пересчитал тюки Бартоша, не глядя пересчитал людей и мазнул взглядом по Кайту — по мечу, по плечу в бурой корке, по лицу. Задержался на лице на один вдох дольше, чем на остальных. Потом махнул рукой: проходи.

Бартош расплатился на мосту, как обещал: полтора серебряка, монета к монете, на ладонь, не в руку. Сказал волам «н-но», и телеги покатили к складам у реки; ни он, ни погонщики на Кайта больше не взглянули.

Ворэн обернулся. Он шёл за последней телегой, и на ногах у него были сапоги, зашнурованные туго, до самого верха.

— Оно вернётся? — спросил он.

Кайт подумал о том, что сказала Валисса: тощий и злой, лет сто будет помнить твоё лицо.

— Не знаю, — сказал он.

Ворэн кивнул и ушёл за телегами.

Оствик стоял на холме над рекой, и город лез в гору улицами — криво, упорно, не спрашивая. Камень внизу, у реки, где склады и пристани. Дерево выше, где жили. Снова камень на самом верху, где над крышами торчали три вещи: шпиль ратуши с флюгером, квадратная башня с серебряной ладонью на воротах и ещё одна башня, круглая, белая, у которой ворот Кайт отсюда не видел.

Он пошёл вверх. Улицы пахли рыбой, потом хлебом, потом конским навозом и кузницей, и всё это было правильно, всё на своих местах, и всё было чужое. Люди шли мимо и смотрели. Не особенно пристально, но Кайт ловил каждый взгляд и каждый проверял: не этот ли. Любой из них мог знать его. Торговка с лотком. Мальчишка с ведром. Дед, который сидел на пороге и чинил сеть. Кто-то из них, может быть, здоровался с ним по имени год назад. Кайт шёл сквозь город, полный людей, которые могли оказаться его знакомыми, и не знал ни одного.

На площади у ратуши стоял Освободитель. Каменный, в два человеческих роста, на постаменте с затёртыми буквами. Правая ладонь раскрыта над площадью, левый кулак сжат у груди. Кайт остановился и посмотрел на кулак. Камень, вырезанный из камня. Он тронул пояс — там, где под кожей лежал настоящий, — и пошёл дальше.

Башня с серебряной ладонью оказалась Домом Клинков: ворота нараспашку, во дворе коновязь, двое в серых плащах стоят у стены. Кайт свернул за квартал до неё и обошёл задами. Круглая белая башня была храмом. Он понял это по тому, кто стоял у её ворот: человек в белом, с посохом, и посох был не для ходьбы. Освободитель над входом был каменный, как и тот, на площади, но другой — моложе, тоньше, и кулак у него был сжат так, что виднелись костяшки. Человек в белом посмотрел на Кайта. Кайт прошёл мимо, не ускоряя шага.

На ратушу он глянул один раз. В окне второго этажа горел свет, и там, по словам знахарки, сидел маг, который дерёт втридорога. Кайт вспомнил, что сказала о нём Валисса, и даже не замедлился.

Таверну он спросил у мальчишки с ведром.

— «Гусиное перо»? — Мальчишка посмотрел на него как на дурака. — Так вон же.

Но ноги Кайта уже повернули в переулок — сами, пока мальчишка договаривал. Переулок вёл вниз, к реке, мимо бочарни, мимо колодца с воротом, и в конце его, где мостки выходили на воду, стоял дом с широким двором и вывеской: гусиное перо, вырезанное из доски и выкрашенное белым.

Кайт постоял у ворот и посчитал. Два входа: ворота и калитка к мосткам. Окна на две стороны. Во дворе телега без колеса, поленница, навес. Под навесом что-то шевельнулось.

Из-под навеса вышел гусак.

Старый, грязно-белый, с клювом в оранжевых трещинах. Он вышел хозяином, растопырил крылья и зашипел на весь мир разом. Потом увидел Кайта. Шипение оборвалось. Гусак сложил крылья, подошёл, переваливаясь, и ткнулся клювом Кайту в сапог. Раз, другой. Поднял голову и посмотрел на него круглым глазом, в котором было ровно столько узнавания, сколько бывает в гусином глазу.

— Не трогай, — сказали со двора. — Он кусается.

В дверях стоял человек. Большой, круглый, в кожаном фартуке поверх рубахи, с лысиной, обожжённой у печи, и с полотенцем через плечо. Он смотрел на Кайта, и лицо у него делало то, чего Кайт не видел у людей пять дней: оно расползалось в улыбку.

— Кайт! — сказал человек. — Ну наконец-то. Я уж думал, тебя там съели.

Гусак у ног удовлетворённо фыркнул, будто это он всё устроил.

* * *

Зал в «Гусином пере» был низкий, тёплый и пустой: вечер только начинался. Печь в углу, длинный стол, лавки. Пахло хлебом и луком. Хозяин — его звали Альвин, он сказал это сам, по пути, и Кайт запомнил его, как условное слово, — усадил его к печи, в угол, откуда были видны обе двери и окно, и сделал это не думая. Поставил пиво. Отошёл к печи. Вернулся с хлебом.

Кайт не притронулся ни к чему. Он смотрел на Альвина и проверял. Так проверяют лёд: шаг, нажать, подождать. Сначала он перебрал то, что видел. Угол у печи — его угол, хозяин посадил его туда, не спрашивая. Пиво налил, не спрашивая какое. Гусак его узнал. Хозяин улыбнулся ему, как своему.

— Что я у тебя обычно беру? — спросил Кайт.

Альвин, расставлявший миски, замер.

— Чего?

— Что я у тебя беру. Обычно.

Кайт смотрел ему в глаза. Глаза Альвина остались на месте и удивились.

— Угол этот. Пиво тёмное. Похлёбку, какая есть, и чтоб без гусятины. — Он загнул ещё палец. — И чтоб никто не подсаживался. Ты что, парень? Голову зашибли?

Кайт выдохнул. Лёд держал.

— Почти, — сказал он. — Сядь.

Альвин сел. Лавка под ним скрипнула.

— Я тебя не помню, — сказал Кайт. — Ни тебя, ни дом этот, ни гуся. Ничего. Был на работе — на той, за которой отсюда уходил. Там меня задело заклятьем. Что за заклятье — не знаю. Очнулся — как выметено. Знаю, как меня зовут, и то потому, что сказали. Дорогу сюда нашли ноги, не я.

Он ждал, что Альвин спросит, какая работа, но тот спросил другое. Он смотрел на Кайта долго, и на круглом лице по очереди прошли недоверие, жалость и что-то третье, похожее на гнев, — не на Кайта.

— И вернётся она, память? — спросил он наконец.

— Не знаю.

— Чтоб их всех, — сказал Альвин негромко и неизвестно кому. Потом поднялся, ушёл к печи и некоторое время гремел там чем-то без нужды. Вернулся с тарелкой. — Ешь. Потом говорить будем.

Кайт ел. Похлёбка была густая, с ячменём, без гусятины.

— Ты сказал: «тебя там съели», — сказал Кайт. — Где — там?

— А ты не сказал. — Альвин развёл руками. — Ты никогда не говорил, куда уходишь. Говорил только: не вернусь к первому снегу — комнату не держи. А снега ещё не было.

— Гусей не подаёшь, — сказал Кайт.

— Не подаю. — Альвин сел напротив. — Я их двадцать лет растил. Ферма была, за Горелым мостом: гуси, козы, малость овец. Надоела. Гуси — нет. Этот, во дворе, — последний из старого выводка. Остальных раздал. — Он дёрнул щекой. — Ты это всё знал. Ты мне сам говорил: Альвин, ты единственный трактирщик в Тальгарде, который держит гуся не на мясо, а в сторожа.

— Похоже на правду.

— Это ты сказал, не я.

Альвин потянулся долить ему пива. Кайт накрыл кружку рукой. Альвин отставил кувшин и улыбнулся, будто нашёл вещь на прежнем месте. За окном темнело, по реке шла последняя лодка.

— Ты мне должен был сказать одну вещь, — сказал Кайт. — Я тебя об этом не просил, но ты собирался. Я видел.

Альвин поскрёб лысину.

— Собирался. Да теперь не знаю, надо ли. Ты ж не помнишь.

— Говори. Я послушаю, как про чужого.

— Три года назад, — сказал Альвин, — ты мне за два дня извёл волков, что резали скот на ферме. Взял серебряк. Один. Я больше совал — ты сказал: остальное будешь должен. Ты и чужое, если брал, всегда возвращал.

Он встал, ушёл за стойку и вернулся с кошелём. Отсчитал на стол десять ликов, по одному, столбиком — король на короле.

— Вот. Должен был — отдаю. И еды тебе соберу, на сколько скажешь. — Он посмотрел на монеты, потом на Кайта. — Ты ведь даже не знаешь, брать или нет. Так?

— Знаю, — сказал Кайт и сгрёб монеты. — Брать.

Альвин хмыкнул. Что-то в этом хмыканье было такое, будто он услышал знакомое.

Человек, о котором рассказывал Альвин, был понятный и даже приятный, и ему можно было доверять. Кайт не чувствовал к нему ничего. Как к скелету в соседней камере, там, в замке: был кто-то — и нет его.

* * *

— Есть ещё одно, — сказал Альвин другим голосом. — С неделю после того, как ты ушёл, — вечером, уже затемно, — пришёл человек. Тот же, с кем ты тогда сидел. Тот, от кого ты работу взял. Оставил для тебя записку и сказал: никому, кроме него, не отдавать. — Альвин вытер руки о полотенце, хотя руки были сухие. — Я сказал: а если он не вернётся? Он сказал: вернётся. И так сказал, что я больше не спрашивал.

— Где записка?

— Сейчас.

Альвин ушёл за стойку. Кайт слушал, как он там возится, и считал. Неделя. До замка отсюда дня три пути — это он теперь знал по своим ногам. Значит, дня через четыре после зарева. Он сам в тот день ещё сидел в Переправе со свежими швами, а человек, который его нанял, уже знал, что он жив и что он сюда придёт. Такого ни один гонец не привезёт. Значит, вестей он не ждал. Он был рядом.

Альвин принёс сложенный вчетверо лист, запечатанный простым воском без оттиска, и положил на стол. Кайт не взял его. Он положил руку рядом.

— Где он сидел? — спросил он.

— Кто? Тот?

— Тот. Когда мы с ним говорили. Где?

Альвин нахмурился, вспоминая.

— Здесь. Где ты сидишь. Ты в углу, он напротив, спиной к залу.

Спиной к залу. Значит, не боялся ничего, что может войти в дверь.

— Что заказал?

— Ужин. Вино — хорошее, я ему своё дал, не разливное.

— Ел?

Альвин открыл рот и закрыл.

— Нет, — сказал он медленно. — Не ел. И не пил. Я помню, потому что тарелка так и ушла назад полная, а я подумал — зажрался, богатый. Вино тоже. Заплатил золотым, сдачи не взял.

— Как выглядел?

— Обычно. — Альвин поморщился. — Вот не вспомню. Не старый, не молодой. Не толстый. Одет — ну, прилично, как торговый человек. Лицо… Лицо не вспомню, хоть убей. А вот глаза помню. Не цвет — как смотрел. Смотрел так, что я подумал: этому лучше не перечить. И не перечил.

— Куда ушёл?

— Не видел. Вышел — и всё. Я за ним не следил.

Кайт кивнул. Спросил ещё две вещи — говорил ли тот что-нибудь о себе, называл ли имя — и получил два «нет». Потом взял письмо.

Воск треснул под пальцем. Лист был плотный, дорогой, почерк мелкий, без нажима. Кайт прочёл первую строку.

«Работа принята».

И тут у него зачесалось за лбом — не так, как в лесу, когда стучалась песня: будто кто-то провёл по внутренней стороне черепа мокрым пальцем. Прошло по голове, вниз по шее, легло на плечи плащом и затихло.

— Не дёргайся, — сказала Валисса.

Кайт не дёрнулся. Он смотрел в лист.

— Дочитай, — сказала она. — Весь.

«Что это?»

— Читай. Про себя — но мне.

Он читал. Строчку за строчкой, медленно, словно вслух, только губами не шевелил. Она слушала.

«Работа принята. Плата, как договаривались, ждёт тебя на старом тракте, в полудне пути от города к югу, у придорожного Освободителя, под его ногами. Забери её. А то, что я дал тебе для работы, положи ему в кулак — там этому и место. Больше меня не ищи. И я тебя искать не стану».

Подписи не было.

— Сверни, — сказала Валисса. — Убери за пазуху. Хозяину улыбнись.

Кайт сложил лист и убрал. Улыбаться он не стал — с его лицом это вышло бы хуже, чем без. Он сказал просто:

— Всё в порядке.

— А то я гляжу, ты побелел.

— Устал. — Он поднялся. — Пойду к воде. Подышу.

— Выйдешь, — сказала Валисса ему в затылок, — сожжёшь.

* * *

За домом река шла чёрная и быстрая, и от неё тянуло холодом. Кайт сел на край мостков, вынул письмо, перечёл ещё раз. Достал из кошеля уголёк — обычное дело, уголь всегда есть у того, кто разводит костры, — расстегнул пояс и на внутренней стороне, на изнанке кожи, написал: юг, полдня, старый тракт, Освободитель, под ногами. Крупно, криво. Застегнул пояс.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.